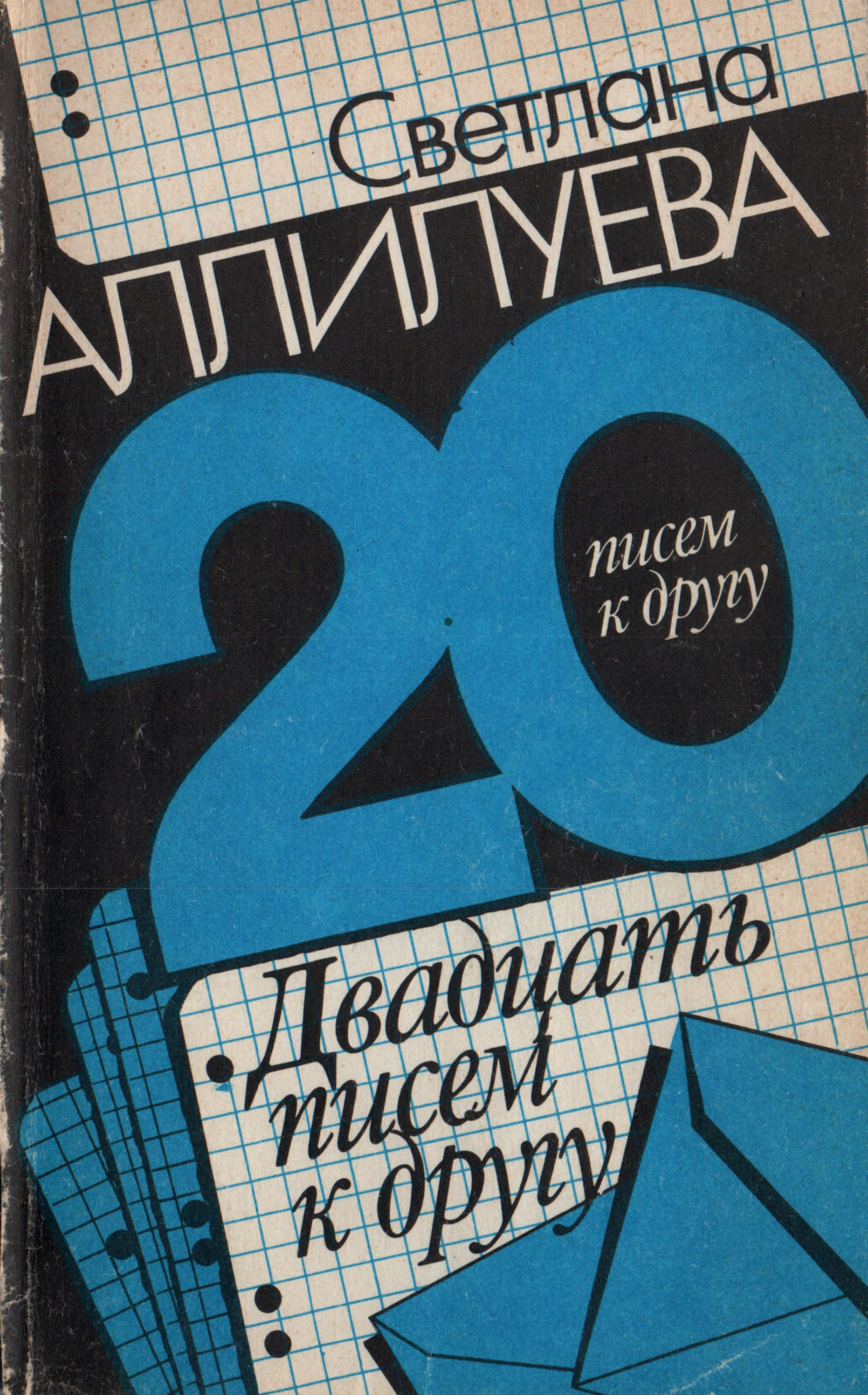

Светлана
Аллилуева
20
писем к другу
Двадцать писем к другу



ББК 66.61(2)8
А 50

Художник В. КУЛЕШОВ

А $\frac{0902020000—077}{074(02)—90}$ 90—90

ISBN 5—206—00150—3

Светлана
АЛЛИЛУЕВА

Двадцать писем к другу

Москва
«ИЗВЕСТИЯ»
1990

ПАМЯТИ МОЕЙ МАМЫ

Эти письма были написаны летом 1963 года в деревне Жуковке, недалеко от Москвы, в течение тридцати пяти дней. Свободная форма писем позволила мне быть абсолютно искренней, и я считаю то, что написано — исповедью.

Тогда мне не представлялось возможным даже думать об опубликовании книги.

Сейчас, когда такая возможность появилась, я не стала ничего изменять в ней, хотя с тех пор прошло четыре года, и я уже теперь далеко от России. Кроме необходимой правки в процессе подготовки рукописи к печати, несущественных купюр и добавления подстрочных примечаний, книга осталась в том виде, в каком ее читали мои друзья в Москве.

Мне бы хотелось сейчас, чтобы каждый, кто будет читать эти письма, считал, что они адресованы к нему лично.

Светлана Аллилуева.

Май, 1967 г., Лоскут Валей.

Сохранены орфография и пунктуация автора.

16 июля 1963 г.

Как тихо здесь. Всего лишь в тридцати километрах — Москва, огнедышащий человеческий вулкан, раскаленная лава страстей, честолюбий, политики, развлечений, встреч, горя, суеты... Всемирный Женский Конгресс, Всемирный кинофестиваль, переговоры с Китаем, новости, новости со всего мира утром, днем и вечером... Приехали венгры, по улицам расхаживают киноактеры со всего света, негритянки выбирают сувениры в ГУМ'е... Красная площадь — когда ни придешь туда — полна людей всех цветов кожи, и каждый человек принес сюда свою неповторимую судьбу, свой характер, свою душу.

Москва кипит, бурлит, задыхается, и без конца жаждет нового — событий, новостей, сенсаций, и каждый хочет первым узнать последнюю новость,— каждый в Москве. Это и есть ритм современной жизни.

А здесь тихо.

Вечернее солнце золотит лес, траву. Этот лес — небольшой оазис между Одинцовым, Барвихой и Ромашково,— оазис, где не строят больше дач, не проводят дорог, а лес чистят, косят траву на полянках, вырубают сухостой. Здесь гуляют москвичи. «Лучший отдых в выходной день», как утверждают радио и телевидение,— это пройти с рюкзаком за плечами и с палочкой в руках от станции Одинцово до станции Усово, или до Ильинского, через наш благословенный лес, чудесными просеками, через овражки, полянки, березовые рощи. Три-четыре часа бредет москвич лесом, дышет кислородом, и — кажется ему, что он воскрес, окреп, выздоровел, отдохнул от всех забот,— и он устремляется снова в кипящую Москву, заткнув увядший букет луговых цветов на полку дачной электрички. Но потом он долго будет советовать вам, своим знакомым, провести воскресенье, гуляя в лесу, и все они пойдут тропинками как раз мимо забора, мимо дома, где живу я.

А я живу в этом лесу, в этих краях, все мои тридцать семь лет. Неважно, что менялась моя жизнь и менялись эти дома — лес все тот же, и Усово на месте, и деревня Кольчуга, и холм над ней, откуда видна вся окрестность. И все те же деревеньки, где берут воду из колодцев и

готовят на керосинках, где в доме за стеной мычит корова и квохчут куры, но на серых убогих крышах торчат теперь антенны телевизоров, а девчонки носят нейлоновые блузки и венгерские босоножки. Многое меняется и здесь, но все так же пахнет травой и березой лес — только сойдешь с поезда — все те же стоят знакомые мои золотые сосны, те же проселки убегают к Петровскому, к Знаменскому. Здесь моя родина.

Здесь, не в городе, не в Кремле, которого не переношу, и где я прожила двадцать пять лет,— а здесь. И когда умру, пусть меня здесь в землю положат, в Ромашково, на кладбище возле станции, на горке — там просторно, все вокруг видно, поля кругом, небо... И церковь на горке, старая, хорошая — правда, она не работает и обветшала, но деревья в ограде возле нее так буйно разрослись, и так славно она стоит вся в густой зелени, и все равно продолжает служить Вечному Добру на Земле. Только там пускай меня и схоронят, в город не хочу ни за что, задыхаться там...

Это я тебе говорю, несравненный мой друг, тебе — чтобы ты знал. Ты все хочешь знать про меня, все тебе интересно,— так знай и это.

Ты говоришь, что тебе все интересно, что касается меня, моей жизни, всего того, что я знала и видела вокруг себя. Я думаю, что много интересного было вокруг, конечно, много. И даже не то важно, что было,— а что об этом думаешь теперь. Хочешь думать вместе со мной?

Я буду писать тебе обо всем. Единственная польза разлуки — можно писать письма. Я напишу тебе все, что и как сумею,— у меня впереди пять недель разлуки с тобой, с другом, который все понимает, и который хочет все знать.

Это будет одно длинное-длинное письмо к тебе. Ты найдешь здесь все, что угодно,— портреты, зарисовки, биографии, любовь, природу, события общеизвестные, выдающиеся, и маленькие, размышления, речи и суждения друзей, знакомых,— всех, кого я знала. Все это будет пестро, неупорядоченно, все будет валиться на тебя неожиданно — как это и было в жизни со мной.

Не думай, ради Бога не думай, что я считаю собственную жизнь очень интересной. Напротив, для моего поколения, моя жизнь чрезвычайно однообразна и скучна. Быть может, когда я напишу все это, с плеч моих свалится, наконец, некий непосильный груз, и тогда только начнется моя жизнь... Я тайно надеюсь на это, я лелею в

глубине души эту надежду. Я так устала от этого камня на спине; быть может, я столкну его, наконец, с себя.

Да, поколение моих сверстников жило куда интереснее, чем я. А те, кто лет на пять-шесть постарше меня — вот самый чудесный народ; это те, кто из студенческих аудиторий ушел на Отечественную войну с горячей головой, с пылающим сердцем. Мало кто уцелел и возвратился, но те, кто возвратился,— это и есть самый цвет современности. Это наши будущие декабристы,— они еще научат нас всех, как надо жить. Они еще скажут свое слово,— я уверена в этом,— Россия так жаждет умного слова, так истосковалась по нему,— по слову и делу.

Мне не угнаться за ними. У меня не было подвигов, я не действовала на сцене. Вся жизнь моя проходила за кулисами. А разве там не интересно?

Там полумрак; оттуда видишь публику, рукоплещущую, разинув рот от восторга, внимающую речам, ослепленную бенгальскими огнями и декорациями; оттуда видны и актеры, играющие царей, богов, слуг, статистов; видно когда они играют, когда разговаривают между собой, как люди. За кулисами полумрак; пахнет мышами и клеем, и старой рухлядью декораций, но как там интересно наблюдать! Там проходит жизнь гримеров, суфлеров, костюмерш, которые ни на что не променяют свою жизнь и судьбу,— и уж кто как не они знают, что вся жизнь — это огромный театр, где далеко не всегда человеку достается именно та роль, для которой он предназначен. А спектакль идет, страсти кипят, герои машут мечами, поэты читают оды, венчаются цари, бутафорские замки рушатся и вырастают в мгновение ока, Ярославна плачет кукушкой на стене, летают феи и злые духи, является тень Короля, томится Гамлет, и — безмолствует Народ...

1

Рассказ будет долгим. Письма будут длинными. Я буду забегать вперед и возвращаться к самому началу. Упаси Бог — это не роман, не биография и не мемуары; последовательного изложения не будет.

Сегодня такое чудное утро. Лесное утро: свистят птицы, сквозит солнце сквозь зеленый лесной полумрак. Сегодня я хочу рассказать тебе о самом конце, о тех днях марта 1953 года, которые я провела в доме отца, глядя, как он умирает. Был ли это, действительно, конец какой-то эпохи и начало новой,— как утверждают теперь? Не мне судить. Увидим. Мое дело не эпоха, а человек.

Это были тогда страшные дни. Ощущение, что что-то привычное, устойчивое и прочное сдвинулось, пошатнулось, началось для меня с того момента, когда 2-го марта меня разыскали на уроке французского языка в Академии общественных наук и передали, что «Маленков просит приехать на Ближнюю». (Ближней называлась дача отца в Кунцево, в отличие от других, дальних дач). Это было уже невероятно — чтобы кто-то иной, а не отец, приглашал приехать к нему на дачу... Я ехала туда со странным чувством смятения.

Когда мы въехали в ворота и на дорожке возле дома машину остановили Н. С. Хрущев и Н. А. Булганин, я решила, что все кончено... Я вышла, они взяли меня под руки. Лица обоих были заплаканы. «Идем в дом,— сказали они,— там Берия и Маленков тебе все расскажут».

В доме,— уже в передней,— было все не как обычно; вместо привычной тишины, глубокой тишины, кто-то бегал и суетился. Когда мне сказали, наконец, что у отца был ночью удар и что он без сознания — я почувствовала даже облегчение, потому что мне казалось, что его уже нет.

Мне рассказали, что, по-видимому, удар случился ночью, его нашли часа в три ночи лежащим вот в этой комнате, вот здесь, на ковре, возле дивана, и решили перенести в другую комнату на диван, где он обычно спал. Там он сейчас, там врачи,— ты можешь итти туда.

Я слушала, как в тумане, окаменев. Все подробности уже не имели значения. Я чувствовала только одно — что

он умрет. В этом я не сомневалась ни минуты, хотя еще не говорила с врачами,— просто я видела, что все вокруг, весь этот дом, все уже умирает у меня на глазах. И все три дня, проведенные там, я только это одно и видела, и мне было ясно, что иного исхода быть не может.

В большом зале, где лежал отец, толпилась масса народу. Незнакомые врачи, впервые увидевшие больного (академик В. Н. Виноградов, много лет наблюдавший отца, сидел в тюрьме) ужасно суетились вокруг. Ставили пиявки на затылок и шею, снимали кардиограммы, делали рентген легких, медсестра беспрестанно делала какие-то уколы, один из врачей беспрерывно записывал в журнал ход болезни. Все делалось, как надо. Все суетились, спасая жизнь, которую нельзя было уже спасти.

Где-то заседала специальная сессия Академии медицинских наук, решая, что бы еще предпринять. В соседнем небольшом зале беспрерывно совещался какой-то еще медицинский совет, тоже решавший как быть. Привезли установку для искусственного дыхания из какого-то НИИ, и с ней молодых специалистов,— кроме них, должно быть, никто бы не сумел ею воспользоваться. Громоздкий агрегат так и простоял без дела, а молодые врачи ошалело озирались вокруг, совершенно подавленные происходящим. Я вдруг сообразила, что вот эту молодую женщину-врача я знаю,— где я ее видела?.. Мы кивнули друг другу, но не разговаривали. Все старались молчать, как в храме, никто не говорил о посторонних вещах. Здесь, в зале, совершалось что-то значительное, почти великое,— это чувствовали все — и вели себя подобающим образом.

Только один человек вел себя почти неприлично — это был Берия. Он был возбужден до крайности, лицо его, и без того отвратительное, то и дело искажалось от распиравших его страстей. А страсти его были — честолюбие, жестокость, хитрость, власть, власть... Он так старался, в этот ответственный момент, как бы не перехитрить, и как бы не недохитрить! И это было написано на его лбу. Он подходил к постели, и подолгу всматривался в лицо больного,— отец иногда открывал глаза, но, по-видимому, это было без сознания, или в затуманенном сознании. Берия глядел тогда, впиваясь в эти затуманенные глаза; он желал и тут быть «самым верным, самым преданным» — каковым он изо всех сил старался казаться отцу и в чем, к сожалению, слишком долго преуспевал...

В последние минуты, когда все уже кончалось, Берия вдруг заметил меня и распорядился: «Уведите Светлану!» На него посмотрели те, кто стоял вокруг, но никто и не подумал пошевелиться. А когда все было кончено, он первым выскочил в коридор и в тишине зала, где стояли все молча вокруг одра, был слышен его громкий голос, не скрывавший торжества: «Хрусталев! Машину!»

Это был великолепный современный тип лукавого царедворца, воплощение восточного коварства, лести, лицемерия, опутавшего даже отца — которого вообще-то трудно было обмануть. Многое из того, что творила эта гидра, пало теперь пятном на имя отца, во многом они повинны вместе, а то, что во многом Лаврентий сумел хитро провести отца, и посмеивался при этом в кулак,— для меня несомненно. И это понимали все «наверху»...

Сейчас все его гадкое нутро перло из него наружу, ему трудно было сдерживаться. Не я одна,— многие понимали, что это так. Но его дико боялись и знали, что в тот момент, когда умирает отец, ни у кого в России не было в руках бóльшей власти и силы, чем у этого ужасного человека.

Отец был без сознания, как констатировали врачи. Инсульт был очень сильный; речь была потеряна, правая половина тела парализована. Несколько раз он открывал глаза — взгляд был затуманен, кто знает, узнавал ли он кого-нибудь. Тогда все кидались к нему, стараясь уловить слово или хотя бы желание в глазах. Я сидела возле, держала его за руку, он смотрел на меня,— вряд ли он видел. Я поцеловала его и поцеловала руку,— больше мне уже ничего не оставалось.

Как странно, в эти дни болезни, в те часы, когда передо мною лежало уже лишь тело, а душа отлетела от него, в последние дни прощания в Колонном зале,— я любила отца сильнее и нежнее, чем за всю свою жизнь. Он был очень далек от меня, от нас, детей, от всех своих ближних. На стенах комнат у него на даче в последние годы появились огромные, увеличенные фото детей,— мальчик на лыжах, мальчик у цветущей вишни,— а пятерых из своих восьми внуков он так и не удосужился ни разу повидать. И все-таки его любили,— и любят сейчас, эти внуки, не видавшие его никогда. А в те дни, когда он успокоился, наконец, на своем одре, и лицо стало красивым и спокойным, я чувствовала, как сердце мое разрывается от печали и от любви.

Такого сильного наплыва чувств, столь противоречивых и столь сильных я не испытывала ни раньше, ни после. Когда в Колонном зале я стояла почти все дни (я буквально стояла, потому что сколько меня ни заставляли сесть и ни подсовывали мне стул, я не могла сидеть, я могла только стоять при том, что происходило), окаменевшая, без слов, я понимала, что наступило некое освобождение. Я еще не знала и не осознавала — какое, в чем оно выразится, но я понимала, что это — освобождение для всех и для меня тоже, от какого-то гнета, давившего все души, сердца и умы единой, общей глыбой. И вместе с тем, я смотрела в красивое лицо, спокойное и даже печальное, слушала траурную музыку (старинную грузинскую колыбельную, народную песню с выразительной, грустной мелодией), и меня всю раздирало от печали. Я чувствовала, что я — никуда не годная дочь, что я никогда не была хорошей дочерью, что я жила в доме как чужой человек, что я ничем не помогала этой одинокой душе, этому старому, больному, всеми отринутому и одинокому на своем Олимпе человеку, который все-таки мой отец, который любил меня,— как умел и как мог,— и которому я обязана не одним лишь злом, но и добром...

Я ничего не ела все те дни, я не могла плакать, меня сдавило каменное спокойствие и каменная печаль.

Отец умирал страшно и трудно. И это была первая — и единственная пока что — смерть, которую я видела. Бог дает легкую смерть праведникам...

Кровоизлияние в мозг распространяется постепенно на все центры, и при здоровом и сильном сердце оно медленно захватывает центры дыхания и человек умирает от удушья. Дыхание все учащалось и учащалось. Последние двенадцать часов уже было ясно, что кислородное голодание увеличивалось. Лицо потемнело и изменилось, постепенно его черты становились неузнаваемыми, губы почернели. Последние час или два человек просто медленно задыхался. Агония была страшной. Она душила его у всех на глазах. В какой-то момент — не знаю, так ли на самом деле, но так казалось — очевидно в последнюю уже минуту, он вдруг открыл глаза и обвел ими всех, кто стоял вокруг. Это был ужасный взгляд, то ли безумный, то ли гневный и полный ужаса перед смертью и перед незнакомыми лицами врачей, склонившихся над ним. Взгляд этот обошел всех в какую-то долю минуты. И тут,— это было непонятно и страшно, я до сих пор не

понимаю, но не могу забыть — тут он поднял вдруг кверху левую руку (которая двигалась) и не то указал ею куда-то наверх, не то погрозил всем нам. Жест был непонятен, но угрожающ, и неизвестно к кому и к чему он относился... В следующий момент, душа, сделав последнее усилие, вырвалась из тела.

Я думала, что сама задохнусь, я впилась руками в стоявшую возле молодую знакомую докторшу,— она застонала от боли, мы держались с ней друг за друга.

Душа отлетела. Тело успокоилось, лицо побледнело и приняло свой знакомый облик; через несколько мгновений оно стало невозмутимым, спокойным и красивым. Все стояли вокруг, окаменев, в молчании, несколько минут,— не знаю сколько,— кажется, что долго.

Потом члены правительства устремились к выходу,— надо было ехать в Москву, в ЦК, где все сидели и ждали вестей. Они поехали сообщить весть, которую тайно все ожидали. Не будем грешить друг против друга — их раздирали те же противоречивые чувства, что и меня — скорбь и облегчение...

Все они (я не говорю о Берия, который был единственным в своем роде выродком) суетились тут все эти дни, старались помочь и, вместе с тем, страшились — чем все окончится? Но искренние слезы были в те дни у многих — я видела там в слезах и К. Е. Ворошилова, и Л. М. Кагановича, и Г. М. Маленкова, и Н. А. Булганина, и Н. С. Хрущева. Что говорить, помимо общего дела, объединявшего их с отцом, слишком велико было очарование его одаренной натуры, оно захватывало людей, увлекало, ему невозможно было сопротивляться. Это испытали и знали многие,— и те, кто теперь делает вид, что никогда этого не испытывал, и те, кто не делает подобного вида.

Все разошлись. Осталось на одре тело, которое должно было лежать здесь еще несколько часов,— таков порядок. Остались в зале Н. А. Булганин и А. И. Микоян, осталась я, сидя на диване у противоположной стены. Погасили половину всех огней, ушли врачи. Осталась только медсестра, старая сиделка, знакомая мне давно по кремлевской больнице. Она тихо прибирала что-то на огромном обеденном столе, стоявшем в середине зала.

Это был зал, где собирались большие застолья, и где съезжался узкий круг Политбюро. За этим столом,— за обедом или ужином,— решались и вершились дела. «Приехать обедать» к отцу — это и означало приехать

решить какой-то вопрос. Пол был устлан колоссальным ковром. По стенам стояли кресла и диваны; в углу был камин, отец всегда любил зимой огонь. В другом углу была радиола с пластинками, у отца была хорошая коллекция народных песен,— русских, грузинских, украинских. Иной музыки он не признавал. В этой комнате прошли все последние годы, почти двадцать лет. Она сейчас прощалась со своим хозяином.

Пришли проститься прислуга, охрана. Вот где было истинное чувство, искренняя печаль. Повара, шоферы, дежурные диспетчеры из охраны, подавальщицы, садовники,— все они тихо входили, подходили молча к постели, и все плакали. Утирали слезы как дети, руками, рукавами, платками. Многие плакали навзрыд, и сестра давала им валерьянку, сама плача. А я-то, каменная, сидела, стояла, смотрела, и хоть-бы слезинка выкатилась... И уйти не могла, а все смотрела, смотрела, оторваться не могла.

Пришла проститься Валентина Васильевна Истомина,— Валечка, как ее все звали,— экономка, работавшая у отца на этой даче лет восемнадцать. Она грохнулась на колени возле дивана, упала головой на грудь покойнику и заплакала в голос, как в деревне. Долго она не могла остановиться, и никто не мешал ей.

Все эти люди, служившие у отца, любили его. Он не был капризен в быту,— наоборот, он был непритязателен, прост и приветлив с прислугой, а если и распекал, то только «начальников» — генералов из охраны, генералов-комендантов. Прислуга же не могла пожаловаться ни на самодурство, ни на жестокость,— наоборот, часто просили у него помочь в чем-либо, и никогда не получали отказа. А Валечка — как и все они — за последние годы знала о нем куда больше и видела больше, чем я, жившая далеко и отчужденно. И за этим большим столом, где она всегда прислуживала при больших застольях, повидала она людей со всего света. Очень много видела она интересного,— конечно, в рамках своего кругозора,— но рассказывает мне теперь, когда мы видимся, очень живо, ярко, с юмором. И как вся прислуга, до последних дней своих, она будет убеждена, что не было на свете человека лучше, чем мой отец. И не переубедить их всех никогда и ничем.

Поздно ночью,— или, вернее, под утро уже,— приехали, чтобы увезти тело на вскрытие. Тут меня начала колотить какая-то нервная дрожь,— ну, хоть бы слезы, хоть

бы заплакать. Нет, колотит только. Принесли носилки, положили на них тело. Впервые увидела я отца нагим,— красивое тело, совсем не дряхлое, не стариковское. И меня охватила, кольнула ножом в сердце странная боль — и я ощутила и поняла, что значит быть «плоть от плоти». И поняла я, что перестало жить и дышать тело, от которого дарована мне жизнь, и вот я буду жить еще и жить на этой земле.

Всего этого нельзя понять, пока не увидишь своими глазами смерть родителя. И чтобы понять вообще, что такое смерть, надо хоть раз увидеть ее, увидеть как «душа отлетает», и остается бренное тело. Все это я не то, чтобы поняла тогда, но ощутила, все это прошло через мое сердце, оставив там след.

И тело увезли. Подъехал белый автомобиль к самым дверям дачи,— все вышли. Сняли шапки и те, кто стоял на улице, у крыльца. Я стояла в дверях, кто-то накинул на меня пальто, меня всю колотило. Кто-то обнял за плечи,— это оказался Н. А. Булганин. Машина захлопнула дверцы и поехала. Я уткнулась лицом в грудь Николаю Александровичу и, наконец, разревелась. Он тоже плакал и гладил меня по голове. Все постояли еще в дверях, потом стали расходиться.

Я пошла в служебный флигель, соединенный с домом длинным коридором, по которому носили еду из кухни. Все кто остался, сошлись сюда,— медсестры, прислуга, охрана. Сидели в столовой, большой комнате с буфетом и радиоприемником. Снова и снова обсуждали как все случилось, как произошло. Заставили меня поесть что-то: «Сегодня трудный день будет, а вы и не спали, и скоро опять ехать в Колонный зал, надо набраться сил!» Я съела что-то, и села в кресло. Было часов 5 утра. Я пошла в кухню. В коридоре послышались громкие рыдания,— это сестра, проявлявшая здесь же, в ванной комнате, кардиограмму, громко плакала,— она так плакала, как будто погибла сразу вся ее семья... «Вот, заперлась и плачет — уже давно», сказали мне.

Все как-то неосознанно ждали, сидя в столовой, одного: скоро, в шесть часов утра по радио объявят весть о том, что мы уже знали. Но всем нужно было это *услышать,* как будто бы без этого мы не могли поверить. И вот, наконец, шесть часов. И медленный, медленный голос Левитана, или кого-то другого, похожего на Левитана,— голос, который всегда сообщал нечто важное. И тут все поняли: да, это правда, это случилось. И все снова

заплакали — мужчины, женщины, все... И я ревела, и мне было хорошо, что я не одна, и что все эти люди понимают, что случилось, и плачут со мной вместе.

Здесь все было неподдельно и искренне, и никто ни перед кем не демонстрировал ни своей скорби, ни своей верности. Все знали друг друга много лет. Все знали и меня, и то, что я была плохой дочерью, и то, что отец мой был плохим отцом, и то, что отец все-таки любил меня, а я любила его.

Никто здесь не считал его ни богом, ни сверхчеловеком, ни гением, ни злодеем,— его любили и уважали за самые обыкновенные человеческие качества, о которых прислуга судит всегда безошибочно.

2

Почему я написала тебе сегодня именно об этом? Почему именно с этого захотелось все начать?

С тех дней прошло десять лет,— немало для нашего бурного, сверх-скоростного века. Я больше не была с тех пор в мрачной Кунцевской даче, я не хожу в Кремль. Ничто не тянет меня повидать те места. Отец не любил вещей, его быт был пуританским, он не выражал себя в вещах и оставшиеся дома, комнаты, квартиры, не выражают его.

Я люблю вспоминать только о доме, где жила мама — о нашей прежней (до 1932 года) квартире в Кремле, о даче «Зубалово» возле Усова, где на всем была рука мамы. Об этом позже.

Прошло десять лет. В моей жизни мало что изменилось. Я, как и раньше, существую под сенью имени моего отца. Как при нем, у меня и моих детей сравнительно обеспеченная жизнь. Не изменилось и другое: внимание одних, злоба других, любопытство всех без исключения, огорчения и потрясения заслуженные и незаслуженные, столь же незаслуженные изъявления любви и верности — все это продолжает давить и теснить меня со всех сторон, как и при жизни отца. Из этих рамок мне не вырваться.

Его нет,— но его тень продолжает стоять над всеми нами, и еще очень часто продолжает диктовать нам, и еще очень часто мы действуем по ее указу...

А жизнь кипит кругом. Выросло целое поколение для которых почти не существует имени «Сталин»,— как не существует для них и многого другого, связанного с этим именем,— ни дурного, ни хорошего. Это поколение принесет с собой какую-то неведомую для нас жизнь,— посмотрим, какова она будет. Людям хочется счастья, эгоистического счастья, ярких красок, звуков, фейерверков, страстей,— хочется не только этого, я знаю: хочется культуры знаний; хочется, чтобы жизнь стала европейской наконец-то и для России; хочется говорить на всех языках мира, хочется повидать все страны мира, жадно, скорей, скорей! Хочется комфорта, изящной мебели и одежды вместо деревенских сундуков и зипунов. Хочется перенимать все иноземное,— платье, теории, искусство, фило-

софские направления, прически, все,— безжалостно откидывая свои собственные достижения, свою российскую традицию. Разве осудишь все это, когда это все так естественно после стольких лет пуританства и поста, замкнутости и отгороженности от всего мира?...

Нет, не мне осуждать все это. Даже если я сама чужда абстракционизма, то все равно я понимаю, почему это искусство завладевает умами совсем неглупых людей (а не только невежественных мальчишек) и не мне спорить с ним. И я не буду спорить,— я знаю, что эти люди живее меня чувствуют современность и будущее. Зачем мешать им думать, как они хотят?

Ведь страшно не это; страшны не все эти безобидные увлечения. Страшно невежество, не знающее ничего, не увлекающееся ничем, ни старым, ни новым, ни своим, ни иностранным. Страшно невежество полагающее, что на сегодняшний день уже *все* достигнуто, и что ежели будет в пять раз больше чугуна, в три раза больше яиц и в четыре раза больше молока,— то вот, собственно, и будет тот рай на земле, о котором мечтает это бестолковое человечество...

Прости меня, я ушла куда-то в сторону... Это все пошло с той мысли, что моя собственная жизнь мало изменилась за последние десять лет. Я все время усиленно занимаюсь только тем, что перевариваю события и осмысливаю их. Право, от этого можно совсем обалдеть. Не тем же ли занимался бедный Гамлет и презирал за это самого себя?

Моя странная, бестолковая двойная жизнь продолжается. Я продолжаю жить, как и десять лет назад, внешне — одной жизнью, внутренне — совсем иной. Внешне это обеспеченная жизнь где-то по-прежнему возле правительственных верхушек и кормушек, а внутренне — это по-прежнему (и еще сильнее, чем раньше) полное отъединение от этого круга людей, от их интересов, обычаев, от их духа и дела, и слова и буквы. Когда я расскажу тебе, как постепенно сложилась такая жизнь, ты увидишь, что иначе не могло и быть, ни раньше, ни теперь.

Я не умею и не могу писать о том, чего не знаю и не видела своими глазами. Я не публицист. Написать биографию отца, охватывающую двадцать лет прошлого века и половину этого века, я бы никогда не взялась. Я в состоянии судить лишь о том, что видела и пережила сама или что, во всяком случае, находится в пределах моего понимания. Я могу написать о своей жизни в доме с

отцом в течение двадцати семи лет; о людях, которые были в этом доме, или были к нему близки; о всем том, что нас окружало и составляло уклад жизни; о том, какие разные люди и какие разные стремления боролись в этом укладе; может быть, о чем-то еще...

Все это составит небольшой кусочек жизни моего отца — около одной ее трети — и совсем небольшой кусочек жизни вообще. Быть может, это микроскопически мало. Но ведь жизнь надо разглядывать и в микроскоп,— мы слишком привыкли судить «в основном», «в общих чертах»; не отсюда ли весь этот поверхностный догматизм и нетерпимость?

А ведь жизнь нашей семьи, этого крошечного кусочка общества, очень характерна, или, как говорят в литературной критике, типична.

Двадцатый век, революция, все перемешали и сдвинули со своих мест. Все переменилось местами — богатство и бедность, знать и нищета. И как все ни перетасовалось и сместилось, как ни обнищало и перераспределилось, но Россия осталась Россией. И жить, строиться, стремиться вперед, завоевывать что-то новое, и поспевать за остальными нужно было все ей же — а хотелось догонять и перегонять...

Быть может, в этом общем устремлении, в этом общем потоке, который и есть жизнь, что-то можно найти интересное и в семейных хрониках, в эпизодах, портретах людей близких и никому не известных. Ты говоришь, что все интересно. Это тебе все интересно. Я совсем не убеждена, что это будет глубоко интересно еще кому-нибудь. А любопытно, конечно, всем.

Сейчас стоит недалеко от Кунцева мрачный пустой дом, где отец жил последние двадцать лет, после смерти мамы. Я сказала, что вещи не выражают отца, потому что он не придавал им никакого значения. Быть может, я не права? Дом этот, во всяком случае, как-то похож на жизнь этих последних двадцати лет. У меня ничего не связано с ним, я его не любила никогда.

Дом построил в 1934 году архитектор Мирон Иванович Мержанов, построивший для отца еще несколько дач на юге. Первоначально дом был сделан очень славно — современная, легкая одноэтажная дача, распластанная среди сада, леса, цветов. Наверху, во всю крышу был огромный солярий — там мне так нравилось гулять и бегать.

Я помню, как все, кто принадлежал еще тогда к нашей семье, приезжали смотреть новый дом. Было весело и шумно. Были тогда моя тетка Анна Сергеевна (мамина сестра) с мужем, дядей Стахом Реденсом, был дядюшка мой Павлуша (мамин брат) с женой Евгенией Александровной; были Сванидзе,— дядя Алеша и тетя Маруся. Были братья мои, Яков и Василий. Еще все происходило тогда по инерции и по традиции, как при маме — в доме было весело и многолюдно. Все привозили с собой детей, дети возились и галдели, и отец это очень любил. Были бабушка с дедушкой — мамины родители. Никак нельзя было бы сказать, что после маминой смерти все родственники отвернулись от отца; наоборот, его старались развлечь, отвлечь, к нему были все внимательны, и он был радушен со всеми.

Но уже поблескивало где-то в углу комнаты пенсне Лаврентия,— такого тихонького еще тогда, скромненького... Он приезжал временами из Грузии, «припасть к стопам». И дачу новую приехал смотреть. Все, кто тогда был близок к нашему дому, его ненавидели — начиная с Реденса и Сванидзе, знавших его еще по работе в ЧК Грузии. Отвращение к этому человеку и смутный страх перед ним были единодушными у нас в кругу близких. Мама еще давно (году в 29-м), как говорил мне сам отец, «устраивала сцены, требуя, чтобы ноги этого человека не было у нас в доме».

Отец говорил мне это позже, когда я была уже взрослой, и пояснял: «Я спрашивал ее — в чем дело? Приведи факты! Ты меня не убеждаешь, я не вижу фактов! А она только кричала: я не знаю, какие тебе факты, я же вижу, что он негодяй! Я не сяду с ним за один стол! Ну,— говорил я ей тогда,— убирайся вон! Это мой товарищ, он хороший чекист, он помог нам в Грузии предусмотреть восстание мингрельцев, я ему верю. Факты, факты мне надо!».

Бедная моя, умная мама! Факты были позже...

Так вот, тогда — в Кунцево, на Ближней, бывало много народу, и было весело...

Сейчас дом стоит неузнаваемый. Его много раз перестраивали, по плану отца. Должно быть, он просто не находил себе покоя, потому что так случалось каждый раз: куда бы он ни приезжал отдыхать на юг, к следующему сезону дом весь перестраивали. То ему не хватало солнца, то нужна была тенистая терраса; если был один этаж —

пристраивали второй, а если их было два — то один сносили...

Так и на Ближней. Сейчас там два этажа, причем во втором этаже никогда никто не жил,— ведь отец был один в доме. Быть может, ему хотелось поселить там меня, брата, внуков? Не знаю, он никогда не говорил нам об этом. Второй этаж был пристроен в 1948 году. Позже, в 1949-м, там, в большом зале, был огромный прием в честь китайской делегации. Это был единственный раз, когда второй этаж был использован. Потом он стоял без дела.

Отец жил всегда внизу, и по существу, в одной комнате. Она служила ему всем. На диване он спал (ему стелили там постель), на столике возле стояли телефоны, необходимые для работы; большой обеденный стол был завален бумагами, газетами, книгами. Здесь же, на краешке, ему накрывали поесть, если никого не было больше. Тут же стоял буфет с посудой и с медикаментами в одном из отделений. Лекарства отец выбирал себе сам, а единственным авторитетом в медицине был для него академик В. Н. Виноградов, который раз-два в год смотрел его. В комнате лежал большой мягкий ковер и был камин — единственные атрибуты роскоши и комфорта, которые отец признавал и любил. Все прочие комнаты, некогда спланированные Мержановым в качестве кабинета, спальни, столовой, были преобразованы по такому же плану, как и эта. Иногда отец перемещался в какую-либо из этих комнат и переносил туда свой привычный быт.

Почти каждый день (в последние годы, после войны) к нему съезжалось «обедать» всё Политбюро. Обедали в большом зале, тут же принимали приезжавших гостей. Я бывала там редко, и видела в этом зале только Иосипа Броз-Тито в 1946 году, но в этом зале побывали, наверное, все руководители братских компартий,— англичане, американцы, французы и итальянцы. В этом зале отец лежал в марте 1953 года, и один из диванов возле стены стал его смертным одром.

Когда-то Мержанов сделал в доме и детские комнаты. Позже их соединили в одну комнату, безликую, как все остальные, с диваном, столом, ковром на полу. Бывшая спальня сделалась просто проходной комнатой. Там стоял шкаф с одеждой. Там же был и книжный шкаф, туда же поставили и рояль, так как в большом зале он «мешал» отцу. Когда появился этот рояль в доме, и для чего — я не знаю. Вероятно им никогда не пользовались.

Что было приятно в этом доме, это его чудесные террасы со всех сторон, и чудный сад. С весны до осени отец проводил дни на этих террасах. Одна была застеклена со всех сторон, две — открытые, с крышей и без крыши. Особенно он любил в последние годы маленькую западную терраску, где видны были последние лучи заходящего солнца. Она выходила в сад; сюда же в сад, прямо в цветущие вишни, выходила и застекленная веранда, пристроенная в последние годы.

Сад, цветы и лес вокруг — это было самое любимое развлечение отца, его отдых, его интерес. Сам он никогда не копал землю, не брал в руки лопаты, как это делают истинные любители садоводства. Но он любил, чтобы все было возделано, убрано, чтобы все цвело пышно, обильно, чтобы отовсюду выглядывали спелые, румяные плоды — вишни, помидоры, яблоки,— и требовал этого от своего садовника. Он брал лишь иногда в руки садовые ножницы и подстригал сухие ветки,— это была его единственная работа в саду. Но повсюду в саду, в лесу (тоже прибранном, выкошенном, как в лесо-парке) там и сям были разные беседки, с крышей, без крыши, а то просто досчатый настил на земле и на нем столик, плетеная лежанка, шезлонг,— отец все бродил по саду и, казалось, искал себе уютного, спокойного места,— искал и не находил... Летом он целыми днями вот так перемещался по парку, ему несли туда бумаги, газеты, чай. Это тоже была его «роскошь», как он ее понимал и желал,— и в этом проявлялся его здоровый вкус к жизни, его неистребимая любовь к природе, к земле, а также его рационализм: последние годы ему хотелось здоровья, хотелось дольше жить...

Когда я была у него здесь последний раз, за два месяца до болезни и смерти, я была неприятно поражена: на стенах комнат и зала были развешаны увеличенные фотографии детей — кажется, из журналов: мальчик на лыжах, девочка поит козленка из рожка молоком, дети под вишней, еще что-то... В большом зале появилась целая галерея рисунков (репродукций, не подлинников) художника Яр-Кравченко, изображавших советских писателей: тут были Горький, Шолохов, не помню, кто еще. Тут же висела, в рамке, под стеклом, репродукция репинского «Ответа запорожцев султану»,— отец обожал эту вещь, и очень любил повторять кому угодно непристойный текст этого самого ответа... Повыше на стене висел портрет Ленина, тоже не из самых удачных. Все это было

для меня абсолютно непривычно и странно — отец вообще никогда не любил картин и фотографий. Только в квартире нашей в Москве, после маминой смерти, висели ее огромные фотографии в столовой и у отца в кабинете. Но так как он не жил в квартире, то и это тоже не выражало, по существу, ничего... Вообще формула «Сталин в Кремле» выдумана, неизвестно кем, и означает только то, что его кабинет, его работа находились в Кремле, в здании Президиума ЦК и Совета Министров.

Дом в Кунцево пережил, после смерти отца, странные события. На второй день после смерти его хозяина,— еще не было похорон,— по распоряжению Берия, созвали всю прислугу и охрану, весь штат обслуживавших дачу, и объявили им, что вещи должны быть немедленно вывезены отсюда (неизвестно куда), а все должны покинуть это помещение.

Спорить с Берия было никому невозможно. Совершенно растерянные, ничего не понимавшие люди собрали вещи, книги, посуду, мебель, грузили со слезами все на грузовики,— все куда-то увозилось, на какие-то склады... подобных складов у МГБ-КГБ было немало в свое время. Людей прослуживших здесь по десять-пятнадцать лет не за страх, а за совесть, вышвыривали на улицу. Их разогнали всех, кого куда; многих офицеров из охраны послали в другие города. Двое застрелились в те же дни. Люди не понимали ничего, не понимали — в чем их вина? Почему на *них* так ополчились? Но в пределах сферы МГБ, сотрудниками которого они все состояли по должности (таков был, увы, порядок, одобренный самим отцом!), они должны были беспрекословно выполнять любое распоряжение начальства. Я узнала об этом много позже — тогда, в те дни, меня не спрашивали.

Потом, когда «пал» сам Берия, стали восстанавливать резиденцию. Свезли обратно вещи. Пригласили бывших комендантов, подавальщиц,— они помогли снова расставить все по своим местам и вернуть дому прежний вид. Готовились открыть здесь музей, наподобие ленинских Горок. Но затем последовал XX съезд партии, после которого, конечно, идея музея не могла прийти кому-либо в голову. Сейчас в служебных корпусах, где жила охрана,— не то госпиталь, не то санаторий. Дом стоит закрытый, мрачный, мертвый. Иногда этот дом, его угрюмые, всегда казавшиеся пустыми, комнаты, снятся мне во сне, и я просыпаюсь, холодная от ужаса...

Дорога, шедшая туда от Поклонной Горы, преврати-

лась в аллею, там гуляют москвичи, живущие в новых домах на Кутузовском проспекте. С шоссе, ведущего к университету, видно, как зарос и заглох лес вокруг этого дома. Это — мрачный дом, мрачный памятник. Я бы не пошла сейчас туда, озолоти меня,— ни за что! Может быть это и есть выразительный монумент того, что называется у нас «эпохой культа личности»? Отец любил этот дом, он был в его вкусе, он был ему удобен. Быть может, его душа, не найдя себе нигде места, захотела бы укрыться под его крышей,— это можно себе представить. Это было бы для нее истинным обиталищем...

Но у нас был когда-то и другой дом. Да, представь себе, милый мой друг, что у нас был некогда совсем иной дом,— веселый, солнечный, полный детских голосов, веселых радушных людей, полный жизни. В том доме хозяйствовала моя мама. Она создала тот дом, он был ею полон, и отец был в нем не бог, не «культ», а просто обыкновенный отец семейства. Дом этот назывался «Зубалово», по имени его старого, дореволюционного владельца, и находится он сейчас от меня здесь в двух километрах, недалеко от станции Усово.

Там мои родители жили с 1919 года по 1932, до маминой смерти. А позже отец не мог оставаться ни там, ни в старой городской квартире — он переменил квартиру в Кремле (в ней жили уже только мы, дети), и построил себе новую дачу, Ближнюю, в Кунцево. А дети, родственники (пока их не разогнали и не арестовали), дедушка с бабушкой,— все мы оставались по-прежнему на лето в Зубалове. Но без мамы все стало совсем другим, все неузнаваемо переменилось...

Я хочу вернуться назад, к солнечным детским годам, к тому времени, которое для нас, детей, безоблачно текло в рамках жизни, организованной и созданной мамой. Это были сказочные годы. Они прошли где-то здесь рядом, в этой окрестности,— ты понимаешь теперь почему я не могу никак оторваться от этой самой Жуковки, где я сижу сейчас в лесу и пишу?

Я расскажу тебе о том времени.

3

Солнечный дом, в котором прошло мое детство, принадлежал раньше младшему Зубалову, нефтепромышленнику из Батума. Он и отец его, старший Зубалов, были родственниками Майндорфа, владельца имения в Барвихе — и сейчас там, над озером, стоит его дом в готическом немецком вкусе, превращенный в клуб. Майндорфу принадлежала и вся эта округа, и лесопилка возле Усова, возле которой возник потом знаменитый птичий совхоз «Горки II». Станция Усово, почта, ветка железной дороги до лесопилки (теперь запущенная и уничтоженная), а также весь этот чудный лес до Одинцова, возделанный еще лесником-немцем, с саженными еловыми аллеями по просекам, где ездили на прогулки верхом — все это принадлежало Майндорфу. Зубаловы же владели двумя усадьбами, расположенными недалеко от станции Усово, с кирпичными островерхими, одинаковой немецкой постройки, домами, обнесенными массивной кирпичной изгородью крытой черепицей.

А еще Зубаловы владели нефтепрогонными заводами в Батуме и в Баку. Отцу моему, и А. И. Микояну хорошо было известно это имя, так как в 900-ые годы они устраивали на этих самых заводах стачки и вели кружки. А когда после революции, в 1919 году, появилась у них возможность воспользоваться брошенными под Москвой в изобилии дачами и усадьбами, то они и вспомнили знакомую фамилию Зубаловых.

А. И. Микоян с семьей и детьми, а также К. Е. Ворошилов, Шапошников, и несколько семей старых большевиков, разместились в Зубалове-2, а отец с мамой — в Зубалове-4 неподалеку, где дом был меньше.

На даче у А. И. Микояна до сегодня сохранилось все в том виде, в каком бросили дом эмигрировавшие хозяева. На веранде мраморная собака,— любимица хозяина; в доме — мраморные статуи, вывезенные в свое время из Италии; на стенах — старинные французские гобелены; в окнах нижних комнат — разноцветные витражи. Парк, сад, теннисная площадка, оранжерея, парники, конюшня — все осталось, как было. И так приятно мне всегда было, когда я попадала в этот милый дом добрых старых друзей, войти в старую столовую, где все тот же резной буфет и та же старомодная люстра, и те же часы на ка-

мине. Вот уже десять внуков Анастаса Ивановича бегают по тем же газонам возле дома и потом обедают за тем же столом под деревьями, где выросли его пять сыновей, где бывала и мама, дружившая с покойной хозяйкой этого дома.

В наш век моментальных перемен и стремительных метаморфоз необыкновенно приятны постоянство и крепкие семейные традиции,— когда они где-то еще сохранились...

Наша же усадьба без конца преобразовывалась. Отец немедленно расчистил лес вокруг дома, половину его вырубил,— образовались просеки; стало светлее, теплее и суше. Лес убирали, за ним следили, сгребали весной сухой лист. Перед домом была чудесная, прозрачная, вся сиявшая белизной, молоденькая березовая роща, где мы, дети, собирали всегда грибы. Неподалеку устроили пасеку, и рядом с ней две полянки засевали каждое лето гречихой, для меда. Участки, оставленные вокруг соснового леса,— стройного, сухого — тоже тщательно чистились; там росла земляника, черника, и воздух был какой-то особенно свежий, душистый. Я только позже, когда стала взрослой, поняла этот своеобразный интерес отца к природе, интерес практический, в основе своей — глубоко крестьянский. Он не мог просто созерцать природу, ему надо было хозяйствовать в ней, что-то вечно преобразовывать. Большие участки были засажены фруктовыми деревьями, посадили в изобилии клубнику, малину, смородину. В отдалении от дома отгородили сетками небольшую полянку с кустарником и развели там фазанов, цесарок, индюшек; в небольшом бассейне плавали утки. Все это возникло не сразу, а постепенно расцветало и разрасталось и мы, дети, росли, по существу, в условиях маленькой помещичьей усадьбы с ее деревенским бытом, — косьбой сена, собиранием грибов и ягод, со свежим ежегодным «своим» медом, «своими» соленьями и маринадами, «своей птицей».

Правда, все это хозяйство больше занимало отца, чем маму. Мама лишь позаботилась о том, чтобы возле дома цвели весной огромные кусты сирени и насадила целую аллею жасмина возле балкона. А у меня был маленький свой садик, где моя няня учила меня ковыряться в земле, сажать семена настурций и ноготков.

Маму больше заботило другое — наше образование и воспитание. Мое детство с мамой продолжалось всего лишь шесть с половиной лет, но за это время я уже писала и читала по-русски и по-немецки, рисовала, лепила, клеила, писала нотные диктанты. Моему брату и мне по-

счастливилось: мама добывала откуда-то замечательных воспитательниц (о своей няне я скажу особо). В особенности это требовалось для моего брата Василия, слывшего «трудным ребенком». Возле брата находился чудесный человек, «учитель» (как его называли), Александр Иванович Муравьев, придумывавший интересные прогулки в лес, на реку, рыбалки, ночевки у реки в шалаше с варкой ухи, походы за орехами, за грибами, и еще Бог весть что. Конечно, это делалось с познавательной целью, вперемежку с занятиями, чтением, рисованием, разведением кроликов, ежей, ужей, и прочими детскими полезными забавами. Попеременно с Александром Ивановичем с нами проводила все дни, лето и зиму, воспитательница (тогда не принято было называть ее «гувернанткой») Наталия Константиновна, занимавшаяся с нами лепкой из глины, выпиливанием всяких игрушек из дерева, раскрашиванием и рисованием, и уж не знаю еще чем... Она же учила нас немецкому языку. Я не забуду ее уроков, они были занимательны, полны игры,— она была очень талантливым педагогом.

Вся эта образовательная машина крутилась, запущенная маминой рукой,— мамы же никогда не было дома возле нас. В те времена женщине, да еще партийной, вообще неприлично было проводить время около детей. Мама работала в редакции журнала, потом поступила в Промышленную Академию, вечно где-то заседала, а свое свободное время она отдавала отцу — он был для нее целой жизнью. Нам, детям, доставались, обычно, только ее нотации, проверка наших знаний. Она была строгая, требовательная мать и я совершенно не помню ее ласки: она боялась меня разбаловать, так как меня и без того любил, ласкал и баловал отец. Мы, конечно, не понимали еще тогда, что всеми нашими развлечениями, играми, всем своим весельем и интересным детством мы были обязаны ей. Это мы поняли позже, когда ее не стало...

А какие чудесные бывали у нас в доме детские праздники! Приглашались дети,— человек 20—30, весь тогдашний Кремль. Тогда в Кремле жило очень много народу, и жили просто, весело. Всегда устраивалась — и долго подготавливалась, вместе с Александром Ивановичем и Наталией Константиновной — детская самодеятельность.

Я помню свой последний (при маме) день рождения в феврале 1932 года, когда мне исполнилось 6 лет. Его справляли на квартире в Кремле — было полно детей. Ставили детский концерт: немецкие и русские стихи, ку-

плеты про ударников и двурушников, украинский гопак в национальных костюмах, сделанных нами же из марли и цветной бумаги. Артем Сергеев (ныне генерал, кавалер всех орденов, а тогда ровесник и товарищ моего брата Василия), накрытый ковром из медвежьей шкуры и стоя на четвереньках, изображал медведя,— а кто-то читал басню Крылова. Публика визжала от восторга.

По стенам были развешены наши детские стенгазеты и рисунки. А потом вся орава — и дети, и родители — отправились в столовую, пить чай с пирожными и сластями. Отец тоже принимал участие в празднике. Правда, он был пассивным зрителем, но его это занимало; изредка, для развлечения он любил детский гвалт. Все это врезалось в память навсегда. А наша чудная детская площадка в лесу, в Зубалово! Там были устроены качели, и доска, перекинутая через козлы, и «Робинзоновский домик» — настил из досок между тремя соснами, куда надо было влезать по веревочной лестнице. И всегда гостил у нас кто-нибудь из детей. У Василия постоянно жил в одной с ним комнате Артем Сергеев, или Толя Ронин; у меня часто бывала Оля Строева (дочь маминой давней подруги), и летом обычно жила у нас на даче «Козя» — Светлана Бухарина, со своей матерью Эсфирью Гурвич.

В доме всегда было людно. В Зубалове у нас часто летом живал Николай Иванович Бухарин, которого все обожали. Он наполнял весь дом животными, которых очень любил. Бегали ежи на балконе, в банках сидели ужи, ручная лиса бегала по парку, подраненный ястреб сидел в клетке. Я смутно помню Н. И. Бухарина в сандалиях, в толстовке, в холщевых летних брюках. Он играл с детьми, балагурил с моей няней, учил ее ездить на велосипеде и стрелять из духового ружья; с ним всем было весело. Через много лет, когда его не стало, по Кремлю, уже обезлюдевшему и пустынному, долго еще бегала «лиса Бухарина», и пряталась от людей в Тайницком саду...

Жил подолгу у нас в Зубалове и Г. К. Орджоникидзе; он был очень дружен с отцом, а мама с его женой, Зиной. Я не берусь сейчас перечислять фамилии людей, гостивших у нас и бывавших,— я многих не помню, потому что была малá, а спрашивать других, кто помнит, не хочется; ведь я хочу написать только то, что знаю или помню, или видела сама.

Взрослые часто веселились,— должно быть по праздникам, или справляли дни рождения... Тогда появлялся

С. М. Буденный с лихой гармошкой и раздавались песни,— украинские, русские. Особенно хорошо пели С. М. Буденный и К. Е. Ворошилов. Отец тоже пел, у него был отличный слух и высокий, чистый голос (а говорил он, наоборот, почему-то глуховатым и низким негромким голосом). Не знаю, пела ли мама, или нет, но, говорят, что в очень редких случаях она могла плавно и красиво танцевать лезгинку. Вообще же, грузинское не культивировалось у нас в доме,— отец совершенно обрусел.

Да и вообще, в те годы «национальный вопрос» как-то не волновал людей,— больше интересовались общечеловеческими качествами. Брат мой Василий как-то сказал мне в те дни: «А знаешь, наш отец *раньше* был грузином». Мне было лет 6, и я не знала, что это такое — быть грузином, и он пояснил: «Они ходили в черкесках и резали всех кинжалами». Вот и все, что мы знали тогда о своих национальных корнях. Отец безумно сердился, когда приезжали товарищи из Грузии и, как это принято — без этого грузинам невозможно! — привозили с собою щедрые дары: вино, виноград, фрукты. Все это присылалось к нам в дом и, под проклятия отца, отсылалось обратно, причем вина падала на «русскую жену» — маму... А мама сама выросла и родилась на Кавказе и любила Грузию, и знала ее прекрасно, но, действительно, в те времена как-то не поощрялась вся эта «щедрость» за казенный счет...

В доме у нас, в Кремлевской квартире, хозяйствовала экономка, найденная мамой — Каролина Васильевна Тиль, из рижских немок. Это была милейшая старая женщина, со старинной прической кверху, в гребенках, с шиньоном на темени, чистенькая, опрятная, очень добрая. Мама доверяла ей весь наш скромный бюджет, она следила за столом взрослых и детей, и вообще вела дом. Я говорю, конечно, о том времени, которое сама помню, то-есть, примерно о 1929—1933 годах, когда у нас в доме был, наконец, создан мамой некоторый порядок, в пределах тех скромных лимитов, которые разрешались в те годы партийным работникам. До этих лет мама вообще сама вела хозяйство, получала какие-то пайки и карточки, и ни о какой прислуге не могло быть речи. Во всяком случае, важно то, что в доме был нормальный быт, которым руководила хозяйка дома, и никаких признаков присутствия в доме чекистов, охраны тогда еще не было. Единственный «охранявший» ездил только с отцом в машине и к дому никакого отношения не имел, да и не подпускался близко.

Примерно так же жила тогда вся «советская верхушка». К роскоши, к приобретательству никто не стремился. Стремились дать образование детям, нанимали хороших гувернанток и немок («от старого времени»), а жены все работали, старались побольше читать. В моду только входил спорт — играли в теннис, заводили теннисные и крокетные площадки на дачах. Женщины не увлекались тряпками и косметикой,— они были и без этого красивы и привлекательны.

Летом родители по какой-то своей, установившейся традиции, ездили отдыхать в Сочи. В 1930 или 1931-ом году впервые взяли и меня. Тогда останавливались в маленькой дачке недалеко от Мацесты, где отец принимал ванны от ревматизма,— только после маминой смерти начали строить еще несколько дач специально для отца. Мама моя не успела вкусить позднейшей роскоши из неограниченных казенных средств — все это пришло после ее смерти, когда дом стал на казенную ногу, военизировался, и хозяйство стали вести опер-уполномоченные от МГБ. При маме жизнь выглядела нормально и скромно.

На юге, в те давние годы, всегда кто-либо отдыхал вместе с родителями: А. С. Енукидзе (мамин крестный и большой друг нашего дома), А. И. Микоян, К. Е. Ворошилов, В. М. Молотов, все с женами и детьми. У меня сохранились фотографии веселых лесных пикников, куда отправлялись все вместе, на машине,— все это было просто весело.

В качестве развлечения отец иногда палил из двухстволки в коршуна, или ночью по зайцам, попадающим в свет автомобильных фар. Биллиард, кегельбан, городки — все, что требовало меткого глаза,— были видами спорта, доступными отцу. Он никогда не плавал — просто не умел, не любил сидеть на солнце, и признавал только прогулки по лесу, в тени. Но и это его быстро утомляло и он предпочитал лежать на лежанке с книгой, со своими деловыми бумагами или газетами; он часами мог сидеть с гостями за столом. Это уж чисто кавказская манера: многочасовые застолья, где не только пьют или едят, а просто решают тут же, над тарелками, все дела — обсуждают, судят, спорят. Мама привыкла к подобному быту и не знала иных развлечений, более свойственных ее возрасту и полу — она была в этом отношении идеальной женой. Даже когда я была совсем маленькой, и ей нужно было кормить меня, а отец, отдыхавший в Сочи, вдруг немножко заболел,— она бросила меня с нянькой

и козой «Нюськой», и сама без колебаний уехала к отцу. Там было ее место, а не возле ребенка.

Словом, у нас тоже был дом, как дом, с друзьями, родственниками, детьми, домашними праздниками. Так было и в городской нашей квартире и, особенно летом, в Зубалове. Зубалово из глуховатой, густо заросшей усадьбы, с темным острокрышим домом, полным старинной мебели, было превращено отцом в солнечное, изобильное поместье, с садами, огородами, и прочими полезными службами. Дом перестроили: убрали старую мебель, снесли высокие готические крыши, перепланировали комнаты. Только в маленькой маминой комнатке наверху сохранились, — я еще помню их,— стулья, стол и высокое зеркало в золоченой оправе и с золочеными резными ножками. Отец с мамой жили на втором этаже, а дети, бабушка, дедушка, кто-нибудь из гостей — внизу.

Центром жизни летом были терраса внизу, и балкон отца на втором этаже,— куда меня вечно посылала моя няня. «Пойди, отнеси папочке смородинки», или «поди, отнеси папочке фиалочки». Я отправлялась, и что бы я ни приносила, всегда получала в ответ горячие, пахнущие табаком, поцелуи отца и какое-нибудь замечание от мамы...

Несмотря на свою молодость (в 1931 году маме исполнилось 30 лет), мама была всеми уважаема в доме, и надо сказать — ее просто все очень любили. Она была красива, умна, необыкновенно деликатна со всеми без исключения, и вместе с тем очень тверда, упорна и требовательна в том, что ей казалось непреложным. Только одной ей удавалось объединить и как-то сдружить меж собою всех наших разношерстных и разнохарактерных родственников,— она была признанной главой дома.

Мама очень нежно, с истинной любовью относилась к Яше, моему старшему брату, сыну отца от первой его жены, Екатерины Семеновны Сванидзе. Яша был только на 7 лет моложе своей мачехи,— он тоже очень уважал и любил ее. Она делала все возможное, чтобы скрасить его нелегкую жизнь, помогала ему в его первом браке, защищала его перед отцом, всегда относившемся к Яше незаслуженно холодно и несправедливо. Мама очень дружила со всеми Сванидзе — с сестрами (Сашикó и Марикó) рано умершей первой жены отца, с ее братом, Александром Семеновичем, и его женой, Марией Анисимовной (тетей Марусей). Родители мамы, мамины братья — дядя Федя и дядя Павлуша,— ее сестра Анна Сергеевна со своим мужем Станиславом Францевичем

Реденсом — все они бывали в нашем доме постоянно, вместе, дружной единой большой семьей. Не было распрей, не было мелочных дрязг, не пахло мещанством.

Вокруг отца был в те годы круг близких людей, видевших жизнь, как она есть, работавших в самых разных областях, и каждый приносил свои рассказы и свои соображения. Тогда, в те годы, отец не мог быть отгороженным от жизни. Это пришло потом, вместе с изоляцией от всех искренних, честных, доброжелательных и равных, близких ему людей.

Александр Семенович Сванидзе был крупным финансовым деятелем, который много жил и работал за границей, в Лондоне, Женеве, в Берлине: он был из круга по-европейски образованных марксистов. Дядя Павлуша был военным с большим опытом гражданской войны и работы в Штабе и Академии; Реденс был одним из соратников Дзержинского, старым опытным чекистом. Их жены — тетя Маруся, оперная певица, острая на язык тетя Женя и Анна Сергеевна, дедушка и бабушка — старые большевики — все они приносили отцу новости,— отец даже просил их иногда «посплетничать». Это был круг служивший источником неподкупной, нелицеприятной информации. Он создался около мамы и исчез вскоре после ее смерти — сперва постепенно, а после 1937-го года окончательно и безвозвратно.

Все эти люди заслуживают того, чтобы о них написать отдельно. Это были незаурядные натуры, одаренные и интересные. Почти у всех жизнь обрывалась трагически — талантливой интересной судьбе каждого из них не дано было состояться до конца. Из уважения к их памяти, из чувства глубочайшей признательности и любви к ним за то, чем они все были для меня когда-то в том солнечном доме, который зовется «детством», я должна о них рассказать тебе. Ты бы полюбил их всех, если бы ты мог их знать и видеть...

А кроме того, в наш век затейливо перемешиваются и сплетаются в один узел судьбы самых разных людей. Удивительно и неожиданно меняются биографии, судьбы перемещаются вверх, вниз,— вдруг после невероятного взлета, следует крушение, падение... Революция, политика безжалостны к человеческим судьбам, к жизням... И поэтому я думаю, что семейные хроники не безинтересны... В них всегда есть зерно исторического сюжета, да и вообще какой выдуманный сюжет может быть гениальнее, чем настоящая реальная жизнь реального человека?

4

Ты не сможешь понять характер моей мамы и всей ее недолгой жизни, если я не расскажу тебе о ее родителях. Жизнь их тоже очень интересна, и во многом она носила характерные черты времени. Прежде всего, уже сама наследственность, доставшаяся маме, и весь уклад детства и воспитания были такими, что определили многое в ее натуре.

Дедушка наш, Сергей Яковлевич Аллилуев, интересно написал сам о своей жизни в книге мемуаров, вышедшей в 1946 году. Но вышла она тогда неполной, с большими сокращениями [1]. Книгу переиздали в 1954 году, но еще больше сократили, и это издание совсем неинтересное.

Дедушка был из крестьян Воронежской губернии, но не чисто русский, а с очень сильной цыганской примесью — бабка его была цыганка. От цыган, наверное, пошли у всех Аллилуевых южный, несколько экзотический облик, черные глаза и ослепительные зубы, смуглая кожа, худощавость. Особенно эти черты отразились в мамином брате Павлуше (внешне настоящем индусе, похожем на молодого Неру), и в самой маме. Может быть, от цыган же была в дедушке неистребимая жажда свободы и страсть к перекочеванию с места на место.

Воронежский крестьянин, он вскоре занялся всевозможным ремеслом, и будучи очень способным ко всякой технике — у него были поистине золотые руки — стал слесарем и попал в железнодорожные мастерские Закавказья. Грузия, ее природа и солнечное изобилие на всю жизнь стали привязанностью деда, он любил экзотическую роскошь юга, хорошо знал и понимал характер грузин, армян, азербайджанцев. Жил он и в Тбилиси, и в Баку, и в Батуме. Там, в рабочих кружках, он встретился с социал-демократами, с М. И. Калининым, с И. Фиолетовым, и стал членом РСДРП уже в 1898 году. Все это очень интересно описано в его воспоминаниях,— Грузия тех лет, влияние передовой русской интеллигенции на

[1] Издал ее Институт Маркса — Энгельса — Ленина в Москве, там хранится и рукопись.

грузинское национально-освободительное движение и тот удивительный интернационализм, который был тогда свойственен закавказскому революционному движению (и, который, к сожалению, иссяк позже).

Дедушка никогда не был ни теоретиком, ни сколько-нибудь значительным деятелем партии,— он был ее солдатом и чернорабочим, одним из тех, без которых невозможно было бы поддерживать связи, вести будничную работу, и осуществить самое революцию. Позже, в 900-х годах, он жил с семьей в Петербурге, и работал тогда мастером в Обществе Электрического Освещения. Работал он всегда увлеченно, его ценили как превосходного техника и знатока своего дела. В Петербурге у дедушки с семьей была небольшая четырех-комнатная квартира,— такие квартиры кажутся нашим теперешним профессорам пределом мечтаний... Дети его учились в Петербурге в гимназии, и выросли настоящими русскими интеллигентами,— такими застала их революция 1917 года. Обо всем этом я еще скажу позже.

После революции дедушка работал в области электрификации, строил Шатурскую ГЭС и долго жил там на месте, был одно время даже председателем общества Ленэнерго. Как старый большевик он был тесно связан со старой революционной гвардией, знал всех — и его все знали и любили. Он обладал удивительной деликатностью, был приветлив, мягок, со всеми ладил, но вместе с тем — это у него соединялось воедино,— был внутренне тверд, неподкупен и как-то очень гордо пронес до конца своих дней (он умер 79-ти лет в 1945 г.) свое «я», свою душу революционера-идеалиста прежних времен, чистоту, необыкновенную честность и порядочность. Отстаивая эти качества он, человек мягкий, мог быть и тверд с теми, кому эти черты были непонятны и недоступны.

Высокого роста, и в старости худощавый, с длинными суховатыми руками и ногами, всегда опрятно, аккуратно и даже как-то изящно одетый — это уже петербургская выучка,— с бородкой клинышком и седыми усами, дедушка чем-то напоминал М. И. Калинина. Ему даже мальчишки на улице кричали «дедушка Калинин!». И в старости сохранился у него живой блеск черных, горячих, как угли, глаз и способность вдруг весело, заразительно расхохотаться.

Дедушка жил и у нас в Зубалове, где его обожали все его многочисленные внуки. В комнате его был верстак, всевозможные инструменты, множество каких-то чудес-

ных железок, проволок,— всего того добра, от которого мы, дети, замирали, и он всегда позволял нам рыться в этом хламе и брать, что захочется. Дедушка вечно что-нибудь мастерил, паял, точил, строгал, делал всякие необходимые для хозяйства починки, ремонтировал электросеть,— к нему все бегали за помощью и за советом. Он любил ходить в далекие прогулки. К нам присоединялись дети дяди Павлуши, жившие в Зубалове-2 (там же, где жил А. И. Микоян), или сын Анны Сергеевны, маминой сестры. Дедушка любил развлекать внуков и ходить в лес за орехами или грибами. Я помню, как дедушка сажал меня к себе на плечи, когда я уставала, и тогда я плыла высоко-высоко над тропинкой, где брели остальные,— и доставала руками до орехов на ветках.

Смерть мамы сломила его: он изменился, стал замкнутым, совсем тихим. Дедушка всегда был скромен и незаметен, он терпеть не мог привлекать к себе внимание — эта тихость, деликатность, мягкость были его природными качествами, а может быть, он и научился этому у той прекрасной русской интеллигенции, с которой связала его на всю жизнь революция. После 1932 года он совершенно ушел в себя, подолгу не выходил из своей комнаты, где что-то вытачивал или мастерил. Он стал еще более нежен с внуками. Жил он то у нас, то у дочери Анны, маминой сестры, но больше всего у нас в Зубалове. Потом начал болеть. Должно быть, скорее всего болела у него душа, и отсюда пошло все остальное, а вообще-то у него было железное здоровье.

В 1938 году умер Павлуша, мамин брат. Это был еще один удар. В 1937 был арестован муж Анны Сергеевны — Станислав Реденс, а после войны, в 1948 году, попала в тюрьму и сама Анна Сергеевна. Дедушка, слава Богу, не дожил до того дня,— он умер в июне 1945 года от рака желудка, обнаруженного слишком поздно. Да и болезни его были не болезнями старости, не телесными, а страдал он изнутри, но никогда не докучал никому ни своими страданиями, ни просьбами, ни претензиями.

Еще до войны он начал писать мемуары. Он вообще любил писать. Я получала от него тогда длинные письма с юга, с подробными описаниями южных красот, которые он так любил и понимал. У него был Горьковский пышный слог,— он очень любил Горького, как писателя и был совершенно согласен с ним в том, что каждый человек должен описать свою жизнь. Писал он много и увлеченно, но к сожалению, при жизни так и не увидел свою кни-

гу изданной, хотя старый его друг М. И. Калинин очень рекомендовал к изданию рукопись «старейшего большевика и прирожденного бунтаря».

Болезнь его развивалась последний год стремительно. Он страшно исхудал,— я видела его незадолго до смерти в больнице и испугалась. Он был как живые мощи, и уже не мог говорить, а только закрыл глаза рукой и беззвучно заплакал,— он понимал, что все приходят к нему прощаться... В гробу он лежал, как индусский святой — таким красивым было высохшее тонкое лицо, тоненький нос с горбинкой, белоснежные усы и борода. Гроб стоял в зале Музея Революции, пришло много народу, старые большевики. На кладбище, старый революционер Литвин-Седой сказал слова, которые я не совсем поняла тогда, но запомнила их на всю жизнь, и так хорошо понимаю сейчас их смысл: «Мы, старое поколение марксистов-идеалистов...».

Брак дедушки с бабушкой был весьма романтичным. К нему, молодому рабочему Тифлисских мастерских, бабушка сбежала из дома, выкинув через окно узелок с вещами, когда ей еще не было 14-ти лет. Но в Грузии, где она родилась и выросла, юность и любовь приходят рано, так что ничего необычайного в этом не было.

Необычайно было то, что она бросила свой дом с относительным достатком, любимых родителей, огромную семью братьев и сестер — ради двадцатилетнего бедного слесаря. На память о доме у бабушки хранилась всю жизнь фотография: все семейство в пролетке возле их дома, любимая лошадь, тут же собака лежит, кучер держится за уздечку, и все домочадцы, проглотив аршин, глядят из пролетки прямо в объектив...

Бабушка наша, Ольга Евгеньевна, урожденная Федоренко родилась в Грузии, выросла там, любила эту страну и ее народ всю жизнь, как свою родину. Она представляла собою странную смесь национальностей. Отец ее, Евгений Федоренко, хотя и носил украинскую фамилию, вырос и жил в Грузии, его мать была грузинкой, и говорил он по-грузински. А женат он был на немке, Магдалине Айхгольц, из семьи немецких колонистов. В Грузии были, еще со времен Екатерины II, колонии немцев, живших своими поселками. Магдалина Айхгольц владела — как полагается — пивнушкой, чудесно стряпала всяки «кухен», родила девять детей (последнюю — Ольгу, нашу бабушку), и водила их в протестантскую церковь.

В семье Федоренко говорили по-немецки и по-грузински. Бабушка лишь позже выучила русский язык и всю жизнь говорила с типично кавказским акцентом, с разными «вай-ме, швило», «генацвале, чириме», и тут же вставляла «Йезус-Мария» и неизменное «Майн Готт». Она всю жизнь была религиозна и ее последующая «революционная жизнь» с дедушкой только очистила ее религиозность от узости и догматизма. Она не признавала различий между протестантством, грегорианской (армянской) церковью и православием, и считала все эти различия чепухой. А если мы, дети, начинали смеяться и допрашивать ее «где же Бог?» и «где у человека душа?» — то она очень сердилась и говорила: «Вырастете взрослыми, состаритесь, и поймете — где. Отстаньте! Меня не перевоспитаете». Она оказалась права: когда мне было уже 35 лет, я поняла, что бабушка была умнее нас всех...

Воспитанная трудолюбивой немкой, бабушка сама была чрезвычайно работящим человеком; как и у дедушки, у нее были золотые руки — только женские. Она чудесно готовила, шила, была великолепной хозяйкой при тех скудных средствах, которые давала ей жизнь с большевиком, то и дело попадавшим в тюрьму и кочевавшим из города в город. И надо было видеть, как сокрушалось ее сердце при виде казенного хозяйства, ведомого в нашем доме в последние годы казенными людьми,— как она негодовала, видя растраты государственных денег! Ее не понимали (или слишком понимали!), и не очень любили за это. В отличие от деликатного дедушки, всегда помалкивавшего, она вдруг могла разразиться криками, бранью в адрес «нерадивых хозяев», всех наших домашних казенных поваров, комендантов, подавальщиц, считавших ее «блажной старухой», капризной самодуркой. Такую славу о ней слышали и мы, дети, жившие вместе с нею в Зубалове после маминой смерти,— и мы не понимали тогда, конечно, что бабушкино сердце было слишком горячим, чтобы она могла молча смотреть на безобразия казенной системы хозяйствования.

Она недаром любила Грузию и выросла там. У нее был поистине южный темперамент и все ее восприятие жизни было южным, горячим, со слезами радости и горя, с причитаниями, с многословными изъявлениями любви, нежности, недовольства. Мама, сдержанная и более строгая, в дедушку, уставала от бабушкиных излияний, от ее постоянной критики воспитания детей, порядков в доме, и ее самой,— и не любила, чтобы бабушка часто бывала

у нас и вникала в жизнь дома. Может быть, потому, что все бабушкины опасения и сожаления были внутренне глубоко справедливыми и разумными, мама просто их боялась и отталкивалась от них?...

Но вернусь назад. Как бы то ни было, бабушка и дедушка представляли собою очень хорошую пару. У бабушки было четырех-классное образование,— вероятно, такое же, как и у дедушки. Они жили в Тифлисе, Батуме, Баку, и бабушка была прекрасной, терпеливой, верной женой. Она была посвящена в его деятельность, вступила сама в партию еще до революции, но все-таки часто сетовала на то, что «Сергей загубил» ее жизнь, и что она видела с ним «одни страдания». Четверо их детей — Анна, Федор, Павел и Надежда родились все на Кавказе и тоже были южанами — по облику, по впечатлениям детства, по всему тому, что вкладывается в человека в самые ранние годы, бессознательно, подспудно.

Дети были удивительно все красивые — кроме Федора, который был зато самым умным, и настолько талантливым, что был принят в Петербурге в гардемарины, несмотря на низкое происхождение «из мещан». Все в семье были приветливые, сердечные и добрые,— это были их общие черты. Пожалуй, самой стойкой, упорной и твердой была мама, обладавшая какой-то внутренней крепостью и упрямством. Остальные были куда мягче. Павлуша и Анна были исключительно добрыми, и мама вечно сетовала, что все они вместе с бабушкой и дедушкой «только портят и портят детей». А они упрекали ее за «сухость», за пристрастие к гувернанткам, которые «мучают» детей и не дают им расти «вольно». Но это все были споры любви; в общем-то все четверо были очень дружны и близки друг к другу.

Дедушка и бабушка считали, что их дети должны получить, по возможности, хорошее образование и поэтому, когда в Петербурге жизнь их несколько наладилась, дети были отданы в гимназии. На сохранившихся фотографиях тех лет поражает бабушкино лицо,— она была очень хороша. Не только большие серые глаза, правильные черты лица, маленький изящный рот,— у нее была удивительная манера держаться: прямо, гордо, открыто, «царственно», с необычайным чувством собственного достоинства. От этого как-то особенно открытыми были большие глаза, и вся ее маленькая фигура казалась больше. Бабушка была очень небольшого роста, светловолосая, складная, опрятная, изящная ловкая женщина,— и

была, как говорят, невероятно соблазнительна, настолько, что от поклонников не было отбоя... Надо сказать, что ей было свойственно увлекаться, и порой она бросалась в авантюры то с каким-то поляком, то с венгром, то с болгарином, то даже с турком — она любила южан и утверждала иногда в сердцах, что «русские мужчины — хамы!» Дети, уже гимназисты, относились к этому как-то очень терпеливо; обычно все кончалось, и водворялась опять нормальная семейная жизнь.

В более поздние годы бабушка с дедушкой, слишком тяжело пережившие, каждый по своему, смерть мамы, все-таки стали жить врозь, на разных квартирах. Встречаясь у нас в Зубалове летом, за общим обеденным столом, они препирались по пустякам и, в особенности, дедушку раздражала ее мелочная придирчивость по всяким суетным домашним делам... Он как-то стал выше этого всего; его занимали мемуары, а докучливые сетования, ахи и охи, эти кавказские причитания о непорядках, выводили его из равновесия. Поэтому каждый из них встретил старость, болезни и смерть в одиночестве, сам по себе и по своему. Каждый остался верен себе, своему характеру, своим интересам. У каждого была своя гордость, свой склад, они не цеплялись друг за друга как беспомощные старики, каждый любил свободу,— и хотя оба страдали от одиночества, но оба не желали поступаться своей свободой последних лет жизни. «Волю, волю я люблю, волю!» — любила восклицать бабушка и при этом, тайно и явно подразумевалось, что именно дедушка лишил ее этой самой воли и вообще «загубил» ее жизнь.

Я все время забегаю вперед, рассказывая о прошлом,— но я так и буду делать, потому что невозможно соблюдать единство времени. Мысли набегают неожиданно.

В те годы, перед революцией, бабушка, помимо ведения хозяйства и воспитания четырех детей, которых она всех обшивала, еще обучилась на курсах акушерства и работала отличной акушеркой. Она любила детей, любила жизнь, и эта работа казалась ей замечательной, она давала ей величайшее духовное удовлетворение. Когда началась первая мировая война, она стала ухаживать за ранеными в госпитале, у нее всю жизнь хранились письма от этих выздоровевших и уехавших домой солдат — она показывала их мне и хранила с любовью и умилением. В те годы она шила дома белье для солдат, и делала это мастерски и быстро, как все, за что она принималась.

Надо сказать, что несмотря на свое трудолюбие и «золотые руки», и дедушка и бабушка были абсолютно непрактичными в своей собственной жизни. Уже в поздние годы, живя то у нас в Зубалове, то у Анны Сергеевны, пользуясь небольшими — скорее символическими — привилегиями старых большевиков, получая какие-то жалкие «пайки», они были оба предельно пренебрежительны к земным благам. Оба донашивали свою дореволюционную одежду, их пальто носились по 20 лет, свои платьишки бабушка перешивала из своего же старья, делая из трех старых платьев одно новое, приличное. Это был не аскетизм ханжества, а просто отсутствие излишних потребностей и еще полное непонимание — так сказать, неосознание — своего нового «высокого» положения в нашем обществе — того положения, благодаря которому иные родственники «августейших» особ создавали роскошную жизнь и себе, и всем своим близким и далеким. Они же об этом даже и не помышляли.

Мама сама была предельно скромна в своих жизненных запросах; только в последние годы ее жизни, Павлуша, работавший в полпредстве в Берлине, прислал ей несколько хороших платьев, делавших ее совершенно неотразимой... А обычно она ходила в скромнейших тряпочках домашнего изготовления, только изредка «лучшее» платье шила портниха, но все равно она и так выглядела прекрасной.

Это полное отсутствие мещанского стяжательства многими воспринималось даже с обидой; считалось, что вот, мол, какие «убогие» старики, уж не мог зять их и приодеть получше... А зять сам носил летом полувоенный костюм из коломянки, а зимой — шерстяной; пальто носил тоже лет 15, а странную куцую шубу, крытую оленьим мехом, на беличьей покладке, должно быть «справил» себе сразу же после революции, и вместе с ушанкой носил зимой до последних своих дней...

«Убогие» старики, «марксисты-идеалисты» сильны были своим духом, животворящим, неиссякаемым и вечным.

Отец знал семью Аллилуевых очень давно, еще с конца 90-х годов. Он очень любил и уважал их обоих,— и это было взаимно. Об их первых встречах, связанных с работой подпольных кружков, много написано в воспоминаниях дедушки,— я не буду этого повторять. Кстати, семейное предание говорит о том, что в 1903-м году отец, еще молодой человек тогда, спас маму. Это было в Баку;

ей было два года, она играла на набережной и свалилась в море,— он вытащил ее из воды. Для мамы, впечатлительной и романтичной, такая завязка наверное имела огромное значение, когда она встретилась с отцом позже, шестнадцатилетней гимназисткой, а он приехал из Сибири, ссыльный революционер 38-ми лет, давний друг семьи...

Что могу помнить я?... Я помню только, что бабушка и дедушка жили постоянно у нас на даче Зубалово,— хотя их комнаты были всегда в противоположных концах дома. Они сидели за столом вместе с отцом, которого дедушка называл «Иосиф, ты», а бабушка «Иосиф, Вы», а он обращался к ним очень почтительно и называл их по имени и отчеству. Так, было, я помню, и после смерти мамы. Родители страшно тяжело перенесли ее смерть, но они слишком хорошо понимали, как тяжело было это и для отца, и поэтому,— как мне кажется и казалось,— в их отношении к нему ничего не переменилось. Эта общая боль не обсуждалась никогда вслух, но незримо присутствовала между ними. Может быть, поэтому,— когда весь дом наш развалился,— отец все чаще уклонялся от встреч с бабушкой и дедушкой. До войны он еще виделся с ними, в свои редкие приезды в наше бывшее гнездо, Зубалово. Это бывало обычно летом и все собирались где-нибудь за столом в лесу, на свежем воздухе и обедали там. Но, по-видимому, отцу эти визиты были слишком болезненным напоминанием о прошлом. Он обычно уезжал мрачный, недовольный, иногда перессорившись с кем-нибудь из детей. Дедушка и бабушка всегда выходили повидать его.

Дедушка приходил и на нашу квартиру в Кремле и, бывало, подолгу сидел у меня в комнате, дожидаясь прихода отца к обеду. Обедали обычно часов в 7-8 вечера, когда отец приходил после рабочего дня из своего кабинета в ЦК или в Совете министров (тогда еще — Совнаркоме). Обедал он всегда не один, и дедушке удавалось, в лучшем случае, посидеть вместе с ним за столом, молча... Иногда отец подтрунивал над его мемуарами, но все же из уважения к старику, не позволял себе никаких грубых шуток по этому поводу. Иногда, когда с отцом приходило слишком много народу, дедушка вздыхал и говорил: «Ну, я пойду к себе. Зайду в другой раз». А другой раз представлялся ему через полгода, или через год,— раньше он не мог никак собраться, потому что это было для него, по-видимому, тяжелым испытанием.

В силу своей деликатности и чрезмерной щепетильности, дедушка никогда не спрашивал отца о судьбе своего зятя Реденса, хотя судьба его собственной дочери, Анны, разбитая жизнь ее и ее сыновей его очень тревожили. Он только тихо и молча страдал от всего этого, и насвистывал себе что-то под нос,— такая у него появилась привычка.

Еще была тут и гордость — ничего не просить, ничего никогда не вымаливать, не выклянчивать... Люди без самолюбия, без чувства собственного достоинства этого понять не могут. Как! рядом с *таким* человеком и ничего не выпросить?! Да, ничего...

Бабушка была в этом смысле проще, естественнее, примитивнее. Обычно у нее всегда накапливался запас каких-либо, чисто бытовых жалоб и просьб, с которыми она обращалась в свое время в удобный момент еще к Владимиру Ильичу (хорошо знавшему и уважавшему всю семью), а позже к отцу. И хотя время разрухи и военного коммунизма давно прошло, бабушка в силу своей неприспособленности к «новому быту» часто оказывалась в затруднениях самых насущных. Мама стеснялась много помогать своим родным и «тащить все из дома»,— тоже в силу всяких моральных преград, которые она умела перед собой воздвигать, и часто бабушка, совершенно растерянная, обращалась к отцу с такой, например, просьбой: «Ах, Иосиф, ну подумайте, я нигде не могу достать уксус!» Отец хохотал, мама ужасно сердилась, и все быстро улаживалось.

После маминой смерти бабушка чувствовала себя у нас в доме стесненно. Она жила или в Зубалове, или в Кремле, в своей маленькой чистенькой квартирке, одна среди старых фотографий и старых своих вещей, которые возила с собой по всем городам всю жизнь: потертые старинные кавказские коврики, неизменная кавказская тахта, покрытая ковром (с ковром же на стене, с подушками и мутаками), какие-то сундучки столетней давности, дешевые петербургские безделушки,— и всюду чистота, порядок, аккуратность. Я любила заходить к ней,— у нее было тихо, уютно, тепло, но бесконечно грустно. О чем же веселом могла она говорить?

Но здоровье и жизнелюбие ее были неистощимы. Уже за 70 лет она выглядела превосходно. Маленького роста, она всегда держала голову как-то очень прямо и гордо — от этого, казалось, прибавлялся рост. Всегда в чистом, опрятном платье, слепленном своими руками из какого-то

своего старья, всегда с янтарными четками, намотанными на запястье левой руки, прибранная, причесанная, она была красива; никаких морщин, никаких следов дряхлости не было. Последние годы ее стала мучить стенокардия,— результат душевных недугов и переживаний. Она мучительно думала и никак не могла понять — почему же, за что попала в тюрьму ее дочь Анна? Она писала письма отцу, давала их мне, потом забирала обратно... Она понимала, что это ни к чему не приведет. К несчастьям, валившимся на нашу семью одно за другим, она относилась как-то фаталистически, как будто иначе оно не могло бы и быть...

Умерла она в 1951 году, в самом начале весны, во время одного из стенокардических спазмов,— в общем, довольно неожиданно; ей было 76 лет.

Одинокие старики — и она и дедушка — никого не обременяли своими страданиями. Мало кто и знал о них — с окружающими они были приветливы и сдержанны. Именно про таких стариков и говорят испанцы: «Деревья умирают стоя».

Я так жалею теперь — когда у меня самой взрослый сын, а года через два-три будут и внуки,— что не понимала их раньше. Да разве понимают внуки бабок, и дети — родителей? Мы считали бабушку вздорной, беспокойной старухой, дедушку любили больше. А они, оба, каждый по своему, были рыцарями правды и чистоты. И можем ли мы, внуки, противопоставить что-либо свое, лучшее, этим их качествам?...

5

Да, эти деревья умирали стоя. Их детям, всем без исключения, досталась трагическая судьба, каждому своя. Каждого жизнь изломала, как могла. Может быть, в этом — судьба века? Или, быть может, каждый из них был слишком слаб, чтобы выдержать напор истории, ломавшей и куда более мощные стволы, валившей с корнем вековые деревья? Во всяком случае, ни один из них не убегал от эпохи, от своего времени,— наоборот, все были в гуще событий, всегда жили больше жизнью общей, чем своей собственной.

Мамин любимый брат Павлуша, большой друг ее, похожий на нее и внешне и внутренне, только более мягкий, более податливый, чем она — стал, как ни странно, профессиональным военным.

Он стал им, не выбирая — началась революция, гражданская война, и он пошел воевать. Воевал он повсюду: под Архангельском, в Туркестане — с англичанами, с басмачами, с белогвардейцами.

Когда окончилась гражданская война, судьба предоставила ему интереснейшее путешествие: его послали (по указанию Ленина) с экспедицией Н. Урванцева на дальний север, искать руду и уголь. Его функции в экспедиции были вспомогательными, он был военным, а не ученым, но ученых кто-то должен был оберегать и защищать в этих диких тогда, безлюдных краях. Экспедиция нашла колоссальные залежи угля и железной руды на реке Норилке,— как это и предполагал Н. Урванцев. Теперь здесь стоит северный наш город Норильск, с многоэтажными домами, магазинами, кинотеатрами, бассейном для плавания. А тогда экспедиция жила в чумах, ездили на оленях и все было вокруг совсем как у Джека Лондона. У Павлушиных детей сохранились фотографии: олени, собаки, мехов'е малицы, белое безлюдье вокруг... Н. Урванцев сейчас живет в Ленинграде — не знаю, быть может, он что-либо написал или напишет о своем подвиге тех лет...

В конце 20-х годов дядя Павлуша был послан советским военным представителем в тогдашнюю, еще до-фа-

шистскую Германию,— официально он был прикомандирован к нашему торговому представительству. Он уехал туда с семьей и жил там долго.

Наверное, маме было тоскливо без него — это было самое трудное для нее время... Временами он присылал ей что-нибудь радостное для всех женщин: платье, хорошие духи,— тогда жили все аскетически и мало думали о подобных вещах. Но отец относился пуритански к «заграничной роскоши» и не переносил даже запаха духов,— он считал, что от женщины должно было пахнуть только свежестью и чистотой... Так что мама радовалась этим подаркам «подпольно», хотя духи все-таки шли в ход и навсегда соединились с ее обликом в моей детской памяти. От нее самой, от ее рук чем-то пахло необыкновенно хорошо... Она заходила вечером иногда в мою комнату, когда я уже засыпала, гладила меня по голове, и я долго потом нюхала подушку, засыпая,— долго-долго еще оставался необъяснимый аромат...

Мама как-то ездила в Карловы Вары,— тогдашний Карлсбад, и гостила недолго у брата в Берлине. В результате этой поездки появились в доме прехорошенькие вязаные кофточки для меня и брата Василия. Для тех лет, это было, конечно, безумной роскошью. Чтобы мы, дети, не подпали под тлетворное влияние буржуазной Европы, нам говорили, что мама привезла это все «из Ленинграда»,— и мы довольно долго этому верили... А отец всю жизнь задавал мне с недовольным лицом вопрос: «Это у тебя заграничное?» — и расцветал, когда я отвечала, что нет, наше отечественное. Это продолжалось и когда я была уже взрослой... И если, не приведи Бог, от меня пахло одеколоном, он морщился и ворчал: «Тоже, надушилась!...»

Маме незачем было внушать пуританские правила,— она сама была предельно скромна по образу жизни и кодексу чести тех лет, то есть, по нормам тогдашней жизни «верхов», особенно партийных, а ее брат просто хотел ее иногда несколько побаловать по своей доброте душевной...

В день смерти мамы дядя Павлуша, к сожалению был в Германии. Ему оставалось только искать в себе силы, чтобы как-то поверить в это чудовищное известие...

Потом он жил в Москве. Я помню его всегда в военной форме. У него было генеральское (по сегодняшним

рангам) звание, работал он в Бронетанковом управлении, был одним из его создателей и организаторов.

Он был высокий, худощавый, длинноногий, как дедушка, с печальными, удивительно мягкими и добрыми карими глазами. Моего брата и меня он обожал, особенно после смерти мамы, всегда сажал на колени, целовал и бормотал какие-то ласковые слова...

Последнее время — незадолго до своей смерти в 1938 году — он приходил на нашу квартиру в Кремле, и сидел подолгу у меня или у Василия в комнате, дожидаясь отца, точь в точь как дожидались его и дедушка и дядя Алеша Сванидзе... Повидимому, и дождаться отца было трудно, и это огорчало дядю Павлушу; он вздыхал и был печален. Помню я и то, как он приезжал с семьей, с остальными нашими близкими, к отцу на Ближнюю дачу,— кажется, был новый год или чей-то день рождения. Отец очень любил Павлушу и его детей. За столом было весело, как у всех обыкновенных, очень близких людей...

В 1938 году, когда уже были арестованы Александр Семенович Сванидзе с женой и муж Анны Сергеевны, Реденс, дядя Павлуша не раз приходил к отцу отстаивать кого-нибудь из своих знакомых военных, тоже попавших в эту гигантскую волну... Но это оставалось безрезультатным... Осенью 1938 года Павлуша уехал в отпуск в Сочи, что было вредно для его нездорового сердца. Когда он вернулся из отпуска и вышел на работу в свое Бронетанковое управление, то не нашел там с кем работать... Управление как вымели метлой, столько было арестов... Павлуше стало плохо с сердцем тут же в кабинете, где он и умер от сердечного спазма.

Позже Берия, уже водворившийся в Москве, выдумывал разные версии его смерти и упорно внушал их отцу, вплоть до того, что вдова Павлуши, Евгения Александровна, была заподозрена в его отравлении, и Бог знает что еще не говорилось... А что проще того очевидного факта, что не всякое сердце могло выдержать происходившее вокруг... Павлуша был, как и дедушка, как и мама, молчалив, скрытен и деликатен. Он прятал боль внутри и в какой-то момент она должна была его убить изнутри...

Берия все-таки не отстал, и в 1948 году, через десять лет после смерти Павлуши, его вдова отправилась в тюрьму, где наряду с прочими «шпионскими делами» ей предъявили и обвинение в отравлении мужа десять лет назад... И она вместе с Анной Сергеевной, вдовой рас-

стрелянного десять лет назад Реденса, получили каждая по десять лет одиночки, откуда их обоих освободил лишь 1954-ый год...

Анна Сергеевна, старшая мамина сестра, не была так близка ей, как брат,— но все же они были очень дружны. Она была с иным характером, другой натурой, чем мама, но не противоположной ей. Это было воплощение доброты, того идеального последовательного христианства, которое прощает всех и вся. Вряд ли я знаю и могу назвать кого-либо еще, кто мог бы так последовательно и упорно всю жизнь, с самой юности и до сегодняшнего дня, посвящать всю себя целиком людям — помогать им, думать об их делах, думать всегда прежде о них, и совсем в последнюю очередь — о себе.

Отец всегда страшно негодовал на это ее христианское всепрощение, называл ее «беспринципной», «дурой», говорил, что «ее доброта хуже всякой подлости». Мама жаловалась, что «Нюра портит детей, и своих, и моих»,— «тетя Аничка» всех любила, всех жалела, и на любую шалость и пакость детей смотрела сквозь пальцы. Это не было каким-то сознательным «философски» обоснованным поведением, просто такова была ее природа, она иначе и не смогла бы жить.

Она была когда-то очень красива,— тоненькая тростиночка с выточенными чертами лица, гораздо более правильными, чем у мамы, с карими глазами и великолепными зубами, как у всех братьев и сестер. Та же смуглость, те же тонкие руки, тот же восточный экзотический облик. Рано выйдя замуж, она располнела и потом уже никогда не следила за собой, пренебрегая своей внешностью, как это бывает с красивыми от рождения людьми. В отличие от аккуратной, строгой мамы, она была всегда неряшливо и бестолково одета, зачесывала волосы назад круглой гребенкой, совершенно не думая о форме, о внешней стороне поведения. Добро, добро людям и для людей,— вот был ее девиз и смысл всей ее жизни, безразлично — были ли у нее возможности делать это добро или нет. О приличиях, о внешнем, она просто не задумывалась.

Маму коробило от ее непосредственности, от анти-эстетизма, от безалаберности и бестолковости в ее доме, от всего того, что самой маме было чуждо. Но вместе с тем она любила сестру, дружила с ней и они разделяли общие взгляды — глубокую человечность и веру в людей.

Дом Анны Сергеевны был целиком возложен на плечи

Тани, Татьяны Ивановны, великолепной старой няни (подруги моей няни), полностью освободившей свою хозяйку от забот о кухне и детях. Мужа своего Станислава Францевича, польского большевика, давнего сподвижника Дзержинского, «Аничка» обожала и считала — и продолжает считать и сейчас — самым лучшим, самым справедливым и самым порядочным человеком на земле. Я помню только, что он был очень красив, с живым лицом, с ослепительной улыбкой, всегда добрый и веселый с нами, с детьми. У них было два сына, красивые полуюжане, полу-поляки; они выросли добрыми и мягкими — в мать, и изящными — в отца.

О РедЕнсе говорили, что он бывал груб, заносчив, не терпел возражений,— я не берусь судить о том, чего не помню и чего не знала сама.

Он был после гражданской войны крупным чекистом Украины,— они жили тогда, всей семьей, в Харькове. Потом его перевели в ЧК Грузии. И тут он впервые столкнулся с Берия, желавшим возглавлять грузинскую ЧК. Они не понравились друг другу. Реденс, ученик Дзержинского, и Берия, рассматривавший Грузию как свою будущую вотчину, свой плацдарм для последующего движения наверх, к власти... Реденса выжили быстро из Грузии, а позже Берия воцарился там первым секретарем Грузинского ЦК партии.

Я еще вернусь к этому персонажу, связанному дьявольской связью со всей нашей семьей и уничтожившему добрую половину ее. Скажу только, что о тех давних временах мне рассказывала много старая кавказская большевичка О. Г. Шатуновская, понимавшая роль Берия, знавшая ему цену еще давно. Собственно говоря, цену ему знали *все* старые партийцы Закавказья, и если бы не странная поддержка отца, которой Берия ловко заручился, то его выдвижения не допустили бы ни С. М. Киров, ни Г. К. Орджоникидзе, ни все те люди, кто хорошо знал Закавказье и ход тамошней гражданской войны. Именно этих людей он уничтожил первыми же, едва получив возможность это сделать...

В начале тридцатых годов Реденс работал в московской ЧК. Его высокое положение (он был в числе первых депутатов Верховного Совета еще в 1936 году) позволяло Анне Сергеевне не работать, не зарабатывать на жизнь. Но она была прирожденной общественницей, и всю жизнь ее наполняли заботы о ком-то, устройство чьих-то дел, опекание чьих-то детей. Она не занималась

стяжательством, как это делали другие знатные «чекистские дамы», одетые во все заграничное; ей было не до того. «Мой муж меня и так очень любит», говорила она, никогда не обращая внимания на сплетни. Ей постоянно жужжали в уши об его изменах,— кто знает, быть может, он и не был святым,— но ее это не затрагивало, ревность была не существовавшим для нее чувством; она смеялась и повторяла: «Ах, оставьте! Мой муж любит меня, и я люблю его, какое мне дело, происходит что-нибудь еще или нет?». И это была не поза, это было искренне, она верила в него, в его отношение к ней, как она верила в людей вообще.

Приход Берия в 1938 году в НКВД Москвы означал для Реденса недоброе,— он понимал это. Его немедленно же откомандировали работать в НКВД Казахстана, и он уехал с семьей в Алма-Ата. Там они пробыли недолго. Вскоре его вызвали в Москву,— он ехал с тяжелым сердцем,— и больше его не видели...

В последнее время он тоже, как и дядя Павлуша, стремился повидаться с отцом, заступаясь за людей; была даже какая-то ссора между ними, по словам Анны Сергеевны. Отец не терпел, когда вмешивались в его оценки людей.

Если он выбрасывал кого-либо, давно знакомого ему из своего сердца, если он уже переводил в своей душе этого человека в разряд «врагов», то невозможно было заводить с ним разговор об этом человеке. Сделать «обратный перевод» его из врагов, из мнимых врагов, назад — он не был в состоянии, и только бесился от подобных попыток. Ни Реденс, ни дядя Павлуша, ни А. С. Сванидзе не могли тут ничего поделать, и единственно, чего они добились, это полной потери контакта с отцом, утраты его доверия. Он расставался с каждым из них, повидав их в последний раз, как с потенциальными собственными недругами, то-есть как с «врагами»...

А все они, каждый в отдельности, были честны; все они говорили с отцом прямо и открыто; никто из них не умел играть на его слабых струнах,— они слишком давно все его знали, они не лукавили с ним, не считали это ни нужным, ни возможным,— и все они оказались в проигрыше...

После ареста Реденса Анна Сергеевна переехала с детьми в Москву. Ей была — в отличие от других — оставлена та же самая квартира; но она перестала допускаться в наш дом, в Зубалово, и я, тогда еще одиннадца-

тилетняя девчонка, никак не могла понять — куда все девались? Почему обезлюдел наш дом? Смутные же рассказы о том, что дядя Стах оказался нехорошим человеком, не доходили еще до моего сознания во всей полноте. Я только все больше и больше ощущала пустоту вокруг, безлюдие, и ничего мне не оставалось, кроме школы и моей доброй няни...

Анна Сергеевна ни на минуту не поверила, что ее муж мог быть врагом, дурным, нечестным человеком. Не поверила она и в то, что он расстрелян, хотя отец мой безжалостно сообщил ей это еще до войны. Он думал этим заставить ее поверить, что он был «враг», но она даже не представляла себе, что вообще такое могло произойти... Ей слишком *нужно* было верить в то, что он жив, что он честен, что он еще вернется,— и она в это верила.

Бабушка и дедушка поддерживали ее, как могли. Она по-прежнему занималась делами других, помогала, опекала. К чести ее друзей,— из старой партийной интеллигенции, к которой принадлежал и ее муж,— все они остались с нею, никто не отвернулся.

Ей была свойственна простота и наивность в высшей степени честного человека, который не может и других заподозрить в дурном, поскольку он сам-то не может быть дурным.

Она часто говорила: «Пойду, навещу Климента Ефремовича [1] (или Лазаря Моисеевича, [2] или Вячеслава Михайловича с Полиной Семеновной [3]), ведь он был так близок со Стахом еще на Украине».

И она шла, хотя никто иной на ее месте, в ее прискорбном положении, не отважился бы даже подумать о таком шаге. Она шла, и оказывалась права: ее встречали, угощали, старались утешить, говорили тепло и сердечно. Перед нею раскрывались двери, как по волшебству,— перед маленькой, опустившейся, бессильной женщиной, чья красота сохранилась только в теплых карих глазах. Она говорила мягко, никакая сила не стояла за ее спиной,— наоборот, всем было известно, что отец мой отвернулся от нее и она не бывает больше у нас в доме.

В последние годы войны она помогала дедушке записывать его воспоминания. Кто-то посоветовал ей написать свои мемуары о жизни семьи Аллилуевых, о революции — впечатления юной гимназистки. Она не смогла

---

[1] Ворошилова.
[2] Кагановича.
[3] Молотова с женой.

бы написать это сама, ей не хватило бы литературного умения. То, что она рассказала, обработала редактор Нина Бам — и получилась книга. Мне она не казалась интересной. Воспоминания дедушки, написанные им самим, имели индивидуальность, лицо. Книжка Нины Бам была слишком литературна,— она была как-то непохожа на автора, на самое Анну Сергеевну, которая была достойна хорошей книги, хорошего писателя...

Тем не менее, книга вышла в 1947 году и вызвала страшный гнев отца. Должно быть, с его слов,— угадывались отдельные резкие формулировки,— была написана в «Правде» разгромная рецензия Федосеева, недопустимо грубая, потрясающе безапелляционная и несправедливая.

Все безумно испугались, кроме Анны Сергеевны. Она даже не обратила на рецензию внимания, поскольку восприняла ее как несправедливую и неправильную. Она знала, что это неправда, чего же еще? А то, что отец гневается, ей было не страшно; она слишком близко его знала, он был для нее человек со слабостями и заблуждениями, почему же он не мог ошибиться? Она смеялась и говорила, что будет свои воспоминания продолжать.

Ей не удалось этого сделать. В 1948 году, когда началась новая волна арестов, когда возвращали назад в тюрьму, в ссылку тех, кто уже отбыл с 1937 года свои десять лет,— эта доля не миновала и ее. Вместе с вдовой дяди Павлуши, вместе с академиком Линой Штерн, с С. Лозовским, вместе с женой В. М. Молотова, старой маминой подругой Полиной Семеновной Жемчужиной, была арестована и Анна Сергеевна.

Вернулась она весной 1954 года, проведя несколько лет в одиночке, а большую часть времени пробыв в тюремной больнице. Сказалась дурная наследственность со стороны бабушкиных сестер: склонность к шизофрении. Анна Сергеевна не выдержала всех испытаний, посланных ей судьбой...

Когда она возвратилась домой, состояние ее было ужасным. Я ее видела в первый же день — она сидела в комнате, не узнавая своих уже взрослых сыновей, безразличная ко всему. Глаза ее были затуманены, она смотрела в окно равнодушная ко всем новостям: что умер мой отец, что скончалась бабушка, что больше не существует нашего заклятого врага — Берия. Она только безучастно качала головой...

С тех пор прошло девять лет. Анна Сергеевна немножко поправилась. У нее прекратился бред, она только

иногда разговаривает сама с собою по ночам... Жизнь ее стала снова активной, как и раньше. Ее восстановили в Союзе писателей, она посещает все собрания, лекции, беседы в Доме литераторов. У нее масса знакомых, старых друзей. Она опять помогает всем, кому может. В день, когда она получает свою пенсию, к ней тянутся знакомые старушки, она всем дает деньги, зная, что они не смогут вернуть... К ней домой приходят совершенно незнакомые ей люди с какими-нибудь просьбами: один хочет прописаться в Москве, у другого нет работы, у старой учительницы семейные неурядицы и ей негде жить. Анна Сергеевна всех слушает и старается что-нибудь сделать... Она ходит в Моссовет, в приемную Президиума Верховного Совета, она пишет письма в ЦК — не о себе, нет, о ком-то нуждающемся, о больной старухе без пенсии и без средств к существованию...

Ее все и всюду знают; ее жалеют и уважают все — кроме ее двух невесток, молоденьких хорошеньких мещаночек... Дома у нее ужасная жизнь. Ее не слушают, ее не спрашивают. Иногда подкидывают ей внуков понянчить, если надо сходить в кино. На семейных молодежных вечерах она нежеланный гость — неопрятно одетая в какие-то балахоны, седая растрепанная старуха, любящая невпопад высказываться... Она берет старую муфту или какой-нибудь мешок, вместо сумки, и идет гулять. На улице она долго беседует с милиционером, спрашивает мусорщика, как его здоровье, берет билет на речной трамвайчик. Если бы это происходило до революции, ее, наверно, считали бы Божьим человеком и ей бы кланялись на улице.

Как странно: после гимназии она поступила в Петербурге в Психо-неврологическое училище, она была бы идеальным врачом психиатром — мягкая, гуманная, сердечная. Судьба ее повернулась иначе, она сама оказалась, в конце концов, психически больной...

Дай Бог здоровым, идеально здоровым людям научиться ее человечности и ее мудрости...

Сейчас она вот уж который год ведет кампанию у нас в доме[1] за создание детского сада. В нашем доме 500 квартир, многие дети гуляют с домработницами, но такая возможность есть не у всех. Анна Сергеевна обходит все инстанции; у нее хватает сил и времени, несмотря на больное сердце, на эмфизему, на неполноценное легкое

[1] Речь идет о так называемом «доме правительства» у Каменного моста.

после туберкулеза, перенесенного в молодости. Пока что результатов нет. Детский сад признан ненужным, детской площадки в нашем мрачном дворе, напоминающем каменный мешок, тоже нет.

Она — подвижник добра, она — святой человек, она истинная христианка, но она и — новый человек, человек будущего... Она подлинная дочь России, явление чисто русское, классическое, типическое, «достоевское». Она никого не осуждает, не судит. Разговоры о «культе личности» выводят ее из себя, она начинает волноваться и заговариваться. «Преувеличивают, у нас всегда все преувеличивают!», говорит она возмущенно, «теперь все валят на Сталина. А Сталину тоже было сложно, мы-то знаем, что жизнь его была сложной, не так-то все было просто... Сколько он сам по ссылкам сидел, нельзя ведь и этого забывать! Нельзя забывать заслуг!» — говорит она.

Она все еще уверена, что Реденс жив, хотя ей прислали официальные бумаги о его посмертной реабилитации. Она считает, что у него где-то там на севере, в Магадане или на Колыме, есть другая семья («Это так естественно, столько лет прошло!» — говорит она),— и что он просто не хочет возвращаться домой. Иногда ей не то снятся сны, не то являются галлюцинации — она уверяет потом, что видела мужа, что говорила с ним.

Она живет в своем мире, где воспоминания прошлых, давних лет, видения, тени мешаются с сегодняшним днем. Только годы тюрьмы — шесть лет — она никогда не вспоминает. Память ее удерживает лишь доброе, интересное, замечательных людей, которых она повидала немало.

Долго убеждала она меня написать все, что я могу знать и помнить. Я упрямо отмахивалась, мне казалось, что это никому не нужно, что это неудобно делать, бестактно, пóшло... Ты переубедил меня, видишь, друг мой, ты сумел меня переубедить и теперь я уже не могу оторваться от пера... И все, что я знаю, вырастает для меня самой в значительное, нужное, важное...[1]

Чтобы закончить портреты маминых братьев, надо сказать несколько слов о Федоре. Он не избежал общей

---

[1] Анна Сергеевна умерла в августе 1964 года в загородной Кремлевской больнице. После тюрьмы она боялась запертых дверей, но, несмотря на ее протесты, ее однажды заперли на ночь в палате. На другое утро обнаружили ее мертвой...

участи своей семьи,— судьба сломила его только немного раньше, чем других.

Это был молодой человек с незаурядными способностями к математике, физике, химии. Перед самой революцией его приняли в аристократическую касту гардемарин только благодаря его исключительной одаренности. Потом последовала революция, гражданская война.

Конечно, он тоже воевал. На войне ему захотелось в разведку,— его решил взять к себе Камо [1], легендарный, бесстрашный Камо, хорошо знавший его родителей еще по Тифлису. Но Камо не расчитал. То, что могли вынести, не моргнув глазом он сам и его разведчики, обладатели стальных нервов, было не под силу другим...

Он любил делать «испытания верности» своим бойцам. Вдруг инсценировал налет: все разгромлено, все захвачены, связаны, на полу — окровавленный труп командира... Вот лежит, тут же, его сердце — кровавый комок на полу... Что будет делать теперь боец, захваченный в плен, как поведет себя?

Федя не выдержал «испытания». Он сошел с ума тут же, при виде этой сцены... И болел долго, всю жизнь. И навсегда остался полуинвалидом — добрый, умный человек, проглатывавший книги по всем наукам, писавший без конца какие-то статьи, труды, пьесы. Он получил пенсию, и умер в возрасте около 60 лет, ничего не совершив в жизни; он отдал свою судьбу, свою молодость, свое здоровье, талант, горячее сердце — революции, отдал безраздельно, как мог. Откуда было ему знать, что очевидно его мозг был приспособлен для кабинетных занятий и, быть может, тут и лежал путь его судьбы; быть может, здесь он был бы куда полезнее революции, чем в отряде головорезов Камо...

Но человек не знает своего пути. Ему хочется туда, где машут саблями, где грохочут пушки и реют знамена...

Я плохо знала дядю Федю, мало с ним встречалась. Он очень любил мою маму, любил нас, ее детей. Но из-за своей болезни он был очень застенчив, одинок, болезнь унесла у него все, даже возможность иметь семью. Он был некрасив, в отличие от остальных братьев и сестер, только глаза были чудесные — мягкие, карие, теплые. Неопрятный, неаккуратно евший за столом,— типичное поведение душевнобольного — он не вызывал симпатии

[1] Тер-Петросян, кавказский большевик.

чужих, но близкие и друзья знали цену его знаниям, его начитанности, его доброму сердцу. Отец мой жалел его (хотя и подсмеивался над его чудачествами), но избегал встреч с ним.

Все дети дедушки и бабушки были слишком впечатлительными, у них были слишком добрые, отзывчивые сердца, чтобы они могли остаться неуязвимыми в этой чудовищной жизни... У всех были интересные задатки, таланты, способности... Ни один не смог дожить свою жизнь до конца, ни одному не было дано спокойного созидательного существования, ни один из них не искал сытого мещанского счастья...

Я еще не рассказала о маме. Я расскажу. Подожди, мне это очень трудно. Подожди немного, о ней потом. Я и так все время говорю о ней, разве ты не видишь ее все время рядом с дедушкой, с бабушкой, с Анной, с Павлушей, с Федором? Разве ты не видишь, как близки они все и как похожи друг на друга, какие это родственные души?

Я все время хочу воскресить старые годы, прежние солнечные годы детства, поэтому я говорю о всех тех, кто был участником нашей общей многолюдной жизни в те годы в Кремле и в Зубалове. Мне необходимо еще рассказать тебе о Сванидзе,— о дяде моего брата Яши, Александре Семеновиче, и его жене Марии Анисимовне, которые были тогда очень близкими людьми для отца и для мамы.

6

Ты уже мог заметить, что во всей нашей семье, Грузия жила как родина. Для всех,— для бабушки с дедушкой, для мамы, Грузия, с ее солнечным изобилием, с ее горячими чувствами, с ее изяществом, врожденным у князей и крестьян,— этот необыкновенный край, воспетый русскими поэтами, жил в нашем доме совсем не потому, что это была родина отца. Как раз он сам, быть может, меньше всех ею восхищался; он любил Россию, он полюбил Сибирь, с ее суровыми красотами и молчаливыми грубыми людьми, он терпеть не мог «феодальных почестей», оказываемых ему грузинами. Он вспомнил Грузию лишь когда постарел.

Быть может, эта общность с Грузией сыграла роль и в том, что родственники первой умершей жены отца, Екатерины Сванидзе, были так дружны с мамой и с ее близкими. Может быть, это мама умела сделать так, что все чувствовали себя хорошо с ней в доме отца, в ее доме, где она была хозяйкой, а отец только присутствовал, вечно погруженный в гущу политических страстей, борьбы, споров, разногласий, заседаний...

Но сегодня я больше не в состоянии писать о прошедшем. Сегодняшняя жизнь, кипящая, сверкающая вокруг, вдруг обступила меня со всех сторон, и не дает больше погружаться в прошедшие дни и уводит меня куда-то в сторону...

Мой сын поехал в Москву — у него урок физики, он готовится держать экзамены в медицинский институт.

Странно, мой отец, из своих восьми внуков, знал и видел только троих — моих детей и дочь Яши. И хотя он был незаслуженно холоден всегда к Яше, его дочь Гуля вызывала в нем неподдельную нежность. И еще странней, — мой сын, наполовину еврей, сын моего первого мужа, (с которым мой отец даже так и не пожелал познакомиться) — вызывал его нежную любовь. Я помню как я страшилась первой встречи отца с моим Оськой. Мальчику было около 3-х лет, он был прехорошенький ребенок,— не то грек, не то грузин, с большими семитскими глазами в длинных ресницах. Мне казалось неизбежным,

что ребенок должен вызвать у деда неприятное чувство,— но я ничего не понимала в логике сердца. Отец растаял, увидев мальчика. Это было в один из его редких приездов после войны в обезлюдевшее, неузнаваемо тихое Зубалово, где жили тогда всего лишь мой сын и две няни — его и моя, уже старая и больная. Я заканчивала последний курс университета и жила в Москве, а мальчик рос под «моей» традиционной сосной и под опекой двух нежных старух. Отец поиграл с ним полчасика, побродил вокруг дома (вернее — обежал вокруг него, потому что ходил он до последнего дня быстрой, легкой походкой) и уехал. Я осталась «переживать» и «переваривать» происшедшее,— я была на седьмом небе. При его лаконичности, слова: «сынок у тебя — хорош! Глаза хорошие у него»,— равнялись длинной хвалебной оде в устах другого человека. Я поняла, что плохо понимала жизнь, полную неожиданностей. Отец видел Оську еще раза два — последний раз за четыре месяца до смерти, когда малышу было семь лет и он уже ходил в школу. «Какие вдумчивые глаза!», сказал отец,— «умный мальчик!» — и опять я была счастлива.

Странно, что и Оська запомнил, очевидно, эту последнюю встречу и сохранил в памяти ощущение сердечного контакта, возникшего между ним и дедом. При всей аполитичности его юного ума, типичной для современной молодежи, он должен был ненавидеть все, связанное с «культом личности», весь круг явлений, приписываемых одному человеку, и самого этого человека.

Да, он ненавидит этот круг явлений — но он их не связал в своей душе с именем своего деда. Портрет деда он поставил на своем письменном столе. Так он стоит вот уже несколько лет. Я не вмешиваюсь в его привязанности и не контролирую его чувств. Детям надо больше доверять. И снова я вижу, что я плохо еще понимаю жизнь, полную неожиданностей...

Так вот, сыну моему уже восемнадцать лет, он окончил школу, и из всех возможных профессий выбрал себе самую человечную — врача. Я рада, я безумно рада, что он решил так. Я так рада, что даже боюсь показывать ему это — как бы он не передумал.

Он красивый, ласковый, мягкий мальчик. Дочь моя носится тут по лесу со своей подружкой,— они обе по недоразумению родились девчонками: из них Бог должен был бы создать пару близнецов-мальчишек. Они лазают по деревьям, по заборам, гоняют на велосипедах,

купаются в речке, спят ночью в палатке возле дома, дрессируют собак и кошек, играют в баскетбол.

Мои дети не знают (и не надо им знать!) как я наслаждаюсь жизнью возле них, как *они* воспитывают меня, а не я их... Сколько для меня упоения в том, что и они растут в том же лесу, где неподалеку выросла и я, дышат тем же воздухом с тех же цветных лугов и полянок и, быть может, как и я, на всю жизнь потом сохранят память вот об этой Жуковке с окрестностями, как образ родной земли.

А вот моя Катя, несмотря на то, что мой отец очень любил ее отца (как и всех Ждановых), не вызвала в нем каких-либо особо нежных чувств. Видел он ее всего раз. Ей было года два с половиной, такая забавная, краснощекая кнопка с большими темными, как вишни, глазами. Он рассмеялся, увидев ее и потом смеялся весь вечер. Это было 8 ноября 1952 года, в двадцатилетие маминой смерти. Мы не говорили ни слова об этой годовщине, и я даже не знаю, вспомнил ли отец эту дату. Но я не могла ее забыть. Я взяла в этот день своих детей и поехала к нему на дачу (хотя это было нелегко осуществить, так как в последние годы было уже трудно договариваться с ним о встрече).

Это был предпоследний раз, когда я видела его до смерти,— за четыре месяца до нее. Кажется, он был доволен вечером и нашим визитом. Как водится, мы сидели за столом, уставленным всякими вкусными вещами,— свежими овощами, фруктами, орехами. Было хорошее грузинское вино, настоящее, деревенское,— его привозили только для отца последние годы,— он знал в нем толк, потягивал крошечными рюмками. Но, хотя бы он и не сделал ни одного глотка, вино должно было присутствовать на столе в большом выборе,— всегда стояла целая батарея бутылок. И, хотя он ел совсем мало, что-то ковырял и отщипывал по крошкам, но стол должен был быть уставлен едой. Таково было правило. Дети полакомились вдоволь фруктами, и он был доволен. Он любил, чтобы ели другие, а сам мог сидеть просто так.

Почему я вдруг вспоминаю именно этот вечер? Потому что это был вообще единственный раз, когда я была вместе с отцом и своими двумя детьми. Было славно, он угощал детей вином,— кавказская привычка,— они не отказывались, не капризничали, вели себя вполне хорошо, и все были довольны.

Хотел ли он, чтобы мы были вместе? Было ли ему

приятно с нами? Вероятно. Но он устал под конец. Он привык к свободному одиночеству. Мы уже были так разобщены с ним жизнью за последние двадцать лет, что было бы невозможно соединить нас в какое-то общее существование, в какую-то видимость семьи, одного дома,— даже если бы на то было обоюдное желание. Да его и не было... А вечер запомнили мы все — даже мои дети.

Вот мы сидим сейчас на нашей маленькой веранде. Сын мой зубрит физику, дочь читает научно-фантастический роман, кот Мишка мурлыкает рядом. Жарко. Тихо. Лес вокруг весь гудит от пчел и ос, доцветает липа. Стоит тихая, размаривающая жара. Природа вокруг спокойна, прекрасна, совершенна. Она совершает свой обычный круг, не взирая ни на что, ни на кого.

Господи, как прекрасен мир Твой, и как совершенен — каждая травиночка, каждый цветок и листок! И Ты все еще продолжаешь укреплять и поддерживать человека в этом страшном, обезумевшем скопище, где лишь природа, вечная и могучая, дает ему силы и утешение, равновесие духа, и гармонию.

Только совсем уже оставленные, проклятые Богом, могут посягать на величие и красоту мира, могут думать об уничтожении всего, что цветет, растет и радуется жизни вокруг. Как страшно, что таких безумцев много. Как страшен, как несправедлив самый тот факт, что безумцы предполагают какую-то «цель», ради которой они считают возможным разрушать жизнь — свою ли, чужую ли, пусть самого далекого, незнакомого народа,— но кощунственно уже самое намерение разрушить ее ради чего-то... Ради чего?

Убогая, босая, немытая, неграмотная крестьянка в любой стране знает, что этого нельзя, что это недопустимо. Цивилизованные люди считают, что можно. Люди, называющие себя марксистами,— коммунисты Китая,— считают, что это не только можно, но и должно.

В мире накопилось столько же безумия, зла, злой воли, сколько и прогресса, ума, знаний, человечности, дружбы. И то, и другое — на чаше весов. На этом адском равновесии живем мы все, наши дети, наше поколение, наш век. Надо, чтобы все верили в могущество добра и доброй воли.

Я думаю, что сейчас, в наше время, вера в Бога — это и есть вера в добро и в то, что оно могущественнее зла, что оно рано или поздно восторжествует, что оно победит.

Различия вероисповеданий не имеют значения в сегодняшнем мире, в котором люди интеллекта уже научились понимать друг друга, минуя границы стран и континентов, языков и рас.

Все догматические различия религий сейчас теряют свое значение. Сейчас люди скорее разделяются на тех, для кого существует Бог, и на тех, для кого вообще существование Бога не нужно. Когда мне стало 35 лет, уже кое-что пережив и повидав, с детства приучаемая обществом и семьей к материализму и атеизму, я все же приняла сторону тех, для кого немыслимо жить без Бога. И я счастлива, что это со мною произошло.

7

Опять я возвращаюсь назад, в наш прежний многолюдный, веселый дом. Опять я хочу вспоминать тех прелестных людей, которые связаны навсегда в моей памяти с теми днями. Так приятно, роясь в памяти, разыскивать там крупицы приветливого, милого.

Я уже начинала говорить о Грузии, но остановилась, бросила все, потому что вдруг почувствовала, что сил не хватает, что сердце не выдержит. Без конца я все рассказываю и рассказываю тебе о прекрасных людях, которые погибли ни за что... Погоди, еще много будет сказано. Еще я только начинаю. Кто же виноват, что *иных* рассказов я не могу для тебя выдумать?...

Я хочу рассказать об Александре Семеновиче Сванидзе, брате первой жены отца. Его партийная кличка была «Алеша» (он был одним из старейших грузинских большевиков, почти ровесник отца,— на три года моложе) и поэтому его все звали Алеша, а мы, дети,— «дядя Алеша». Он и его жена Мария Анисимовна были, благодаря маме, очень близкими людьми нашей семьи, а также всех маминых родных. Это были замечательные люди.

Дядя Алеша был красивый грузин сванского типа — невысокий, плотный блондин с голубыми глазами, и тонким носом с горбинкой. Одевался он всегда очень хорошо, даже с некоторым щегольством. Грузины очень чувствительны к внешней форме и умеют соблюдать ее во всем, непринужденно и грациозно. Марксистские убеждения не мешают им в этом нисколько. А дядя Алеша был старый марксист, с европейским образованием. Еще до революции он учился на средства партии в университете в Иене, в Германии, знал западные языки, и восточные; он прекрасно знал историю, экономику и особенно — финансовое дело.

Первая мировая война застала его в Германии, и он сразу был интернирован. А после революции его отпустили и, вернувшись в Грузию, он стал ее первым наркомфином,[1] а также членом ЦК. Там он вскоре женился на Марии Анисимовне, дочери богатых родителей, окончив-

---

[1] Министром финансов.

шей Высшие женские курсы в Петербурге и консерваторию в Грузии, и певшей в тифлисской опере.

Тетя Маруся была очень хороша собой. Она принадлежала к богатой еврейской семье по фамилии Корона, вышедшей из Испании. А похожа лицом она была скорее всего на славянку: правильный овал лица, коротенький вздернутый нос, нежнейший бело-розовый цвет лица и огромные васильковые глаза. Она была крупная, веселая, нарядная женщина благоухавшая хорошими духами. Они были чудесной парой, оба яркие, красивые, всех очаровывавшие.

Тебе не странно, что я все время говорю обо всех «красивый», «красивая»?.. Может быть, тебе покажется, что я выдумываю? Нет, правда! Это был какой-то век, когда все были красивые. Посмотри на лица старых русских революционеров,— выразительные глаза, высокие, умные лбы, твердые губы; в лицах не было ни скепсиса, ни сомнений, ни злобы...

Чисто политической, партийной карьеры у дяди Алеши не получилось (не знаю, желал ли он ее), и он посвятил себя целиком финансам. Вскоре его послали за границу, он жил с семьей то в Берлине (еще до-фашистском), то в Женеве, то в Лондоне. Последние годы (до 1937) он работал в Москве, во Внешторгбанке, его директором или управляющим. Именно в это время,— и еще при маме,— я часто видела его и тетю Марусю у нас в доме.

Наверное, и мама их любила; во всяком случае, они оба любили маму. Они были на много старше, чем она, и относились очень нежно к ней и к нам, ее детям. Тетя Маруся всегда старалась как-то скрасить мамино скромнейшее существование, и всегда привозила ей, а также и нам, что-нибудь из Берлина.

Они оба были европейцами в самом лучшем смысле этого слова. Когда я вижу теперь узкий, мелкий, какой-то мещанский национализм грузин, эту их бестактную манеру говорить по-грузински при тех, кто не понимает этого языка, стремление все свое выхвалять, а все прочее ругать,— я думаю: Боже! Как были далеки люди от этого в то время! Как мало придавали значения этому проклятому «национальному вопросу»! И какая дружба, какое доверие связывало людей между собой,— разве люди заняты были постройкой дач, приобретением машин, мебели?...

Тетя Маруся получила хорошее экономическое обра-

зование на Высших женских курсах, и когда она с мужем уехала заграницу, а потом они стали жить в Москве, она была великолепной помощницей Александра Семеновича. Он всегда делился с нею всем, что должен был решать; она была в курсе всех его дел и связей.

Я помню их обоих, приезжавших к нам в Зубалово, или приходивших пешком из Зубалово-2, где они жили всей семьей во флигеле. Там было многолюдно. Сыновья Микояна, дочь Гамарника, дети Ворошилова, Шапошникова — все они помнят этот гостеприимный, веселый дом. Там бывало и кино, еще немое в то время, звуковую передвижку привозили редко; там была теннисная площадка, куда сходились молодежь и взрослые; наконец, там была русская баня, куда собирались любители ее, в том числе — мой отец. В этом самом Зубалове-2 вырос и сын Сванидзе, названный своими родителями странно: Джон-рид, в честь известного американского журналиста. Маленьким его звали все Джони или Джоник, а теперь он стал Иваном Александровичем, и вспоминает он о своем детстве в Зубалове-2 с такой же нежностью, с такой же радостью, как и я о своих счастливых днях в Зубалове нашем...

Своего Джоника Сванидзе обожали,— они были уже немолодыми родителями,— и обучали его всему, чему только возможно было его учить: немецкому языку (тогда было принято учить немецкий, а не английский, как теперь), рисованию, музыке, лепке; он сочинял с пятилетнего возраста свои стихи, «писал книги», рисуя их в альбомах и делая надписи огромными печатными буквами. Правда, у дяди Алеши были и свои методы воспитания, отличавшиеся от методов Лидии Трофимовны (гувернантки и няньки в одном лице). Узнав однажды, что Джоник, развлекаясь, сунул котенка в горящий камин и обжег его, дядя Алеша с громкими проклятиями схватил сына за руку и, притащив его к камину, сунул в огонь его руку. Ребенок взвыл от боли, а дядя Алеша кричал при этом: «А ему тоже больно! А ему тоже больно!». Так он, с истинно грузинским темпераментом, отстаивал справедливость.

Он очень любил сына и всегда гулял с ним вдвоем по воскресеньям в лесу вокруг Зубалова-2 (я и сейчас хожу туда гулять, это недалеко от Жуковки). Гуляя, он рассказывал ему что-нибудь из истории,— он очень любил историю и хорошо знал ее, особенно древнюю историю: персов, хеттов, греков. Последние годы своей жизни он

напечатал несколько статей в «Вестнике древней истории» о происхождении древнейших грузинских племен. Знал он отлично и грузинскую поэзию и много занимался текстологией Руставели.

Мария Анисимовна больше баловала сына и целиком доверила его Лидии Трофимовне. В Москве тетя Маруся уже не была оперной певицей, но пела часто в концертах. Она любила светскую жизнь, знала в ней толк, у нее был хороший вкус, гостеприимный, широкий дом, полный дорогих и красивых вещей. Я помню их,— особенно тетю Марусю, как очень красивых, добрых и веселых людей, необыкновенно ласковых со мною. К дяде Алеше я бросалась всегда на шею и не слезала с его колен.

Я говорю лишь о том, что знаю или видела сама. Я видела и помню, что отец любил их обоих, особенно дядю Алешу, и они бывали у нас как близкие люди. Были ли у них разногласия политического характера? Спорил ли отец с дядей Алешей, с Реденсом, с дядей Павлушей по вопросам политическим? Возможно, что да. В те времена люди позволяли себе иметь собственное мнение и имели его по всем вопросам, не уклоняясь от жизни, не пряча голову в кусты от сложных проблем. Но я не знаю ничего об этом, у меня нет свидетельств. Я знаю, что все они были не только родственниками, но и близкими людьми, и что их слова, их мнения, их информация о реальной жизни (от которой отец уже в те годы был отдален) имели для отца огромное значение. И, без сомнения, тогда он доверял им, как людям близким, и безусловно, тогда ему не приходило в голову, что все они являются тайными «врагами народа» и его личными противниками (что стало для него позже, к сожалению, равнозначным...).

Они продолжали бывать у нас и после маминой смерти, хотя в доме уже не было ни хозяйки, ни ее радушного духа. Они приезжали в наше Зубалово, где по традиции справлялись детские праздники, дни рождения — мой или Василия. Один раз взрослые решили позабавить детей и разыграли перед нами кукольный спектакль «Отелло». Был отодвинут от стены диван, за спинкой его спрятались тетя Маруся и другие, и силами моих неприхотливых кукол была поставлена трагедия, получившаяся очень смешной. Потом тетя Маруся пела романсы. Мы, дети, не слушали, это нам было неинтересно.

В 1937 году был арестован Реденс. Это был первый удар по нашей семье, по нашему дому. Вскоре арестовали и дядю Алешу с тетей Марусей.

Как это могло случиться? Как это мог отец? Я знаю лишь одно: он не смог бы додуматься до этого сам. Но если ему это хитро и тонко подсказали, если ему лукавый и льстивый человек (каковым был Берия) нашептал, что «эти люди — против», что «есть материалы, компрометирующие их», что были «опасные связи», поездки за границу и т. п., то отец мог поверить. Я еще напишу отдельно о том, как ужасно опустошен был он, как разбит духовно смертью мамы и смертью Кирова. Он перестал верить в людей; может быть, он всегда не очень-то им верил... Его можно было переубедить. Ему можно было внушить, что этот человек — *не* хороший, как мы думали о нем много лет, нет, он — дурной, он лишь *казался* хорошим, а на деле он враг, он противник, он говорил о вас ду́рно, и вот материалы, вот факты, X и Z «показали» на него... А уж как могли эти X и Z «показать» все, что угодно, в застенках НКВД — в это отец не вникал. Это уж было дело Берия, Ежова и прочих палачей, получивших от природы сей профессиональный дар...

А уж когда отца «убеждали факты», что ранее хорошо известный ему человек, оказывается, *дурной,* тут с ним происходила какая-то психологическая метаморфоза. Быть может, в глубине души он и сомневался в этом, и страдал, и думал... Но он был подвластен железной, догматической логике: сказав А, надо сказать Б, В и все остальное. Согласившись однажды, что N — *враг,* уже дальше необходимо было признать, что *так это и есть;* дальше уже все «факты» складывались сами собой только в подтверждение этого... Вернуться назад и снова поверить, что N не враг, а честный человек, было для него психологически невозможно. *Прошлое исчезало* для него — в этом и была вся неумолимость и вся жестокость его натуры. Прошлого,— совместного, общего, совместной борьбы за одинаковое дело, многолетней дружбы,— всего этого как не бывало, оно им зачеркивалось каким-то внутренним, непонятным жестом,— и человек был обречен. «А-а, ты меня предал»,— что-то говорило в его душе, какой-то страшный дьявол брал его в руки,— «ну и я тебя больше не знаю!» Старые товарищи по работе, старые друзья и соратники могли взывать к нему, помня о прежнем его отношении к ним,— бесполезно! Он был уже глух к ним. Он не мог сделать шаг обратно, назад, к ним. Памяти уже не было. Был только злобный интерес — а как же ведет себя теперь N? Признает ли он свои ошибки?

Удивительно, до чего отец был беспомощен перед махинациями Берия. Достаточно было принести бумаги, протоколы, где N «признавал» свою вину, или другие «признавали» ее за него. Если же он «не признавал»,— это было еще хуже.

Дядя Алеша был крепким человеком. Он так и «не признал» за собой никакой вины. Об этом говорил Н. С. Хрущев в докладе на XXII Съезде партии. Он «не признал» и «не просил прощения», т.-е. не стал взывать к отцу письмами о помощи,— как это безрезультатно делали многие. Дядя Алеша проявил силу и мужество настоящего большевика. Это так похоже на него, так вяжется со всем его чудесным обликом. Но он поплатился за эту свою выдержку, за свою человеческую гордость и твердость. В феврале 1942 года, в возрасте 60 лет, он был расстрелян.

Это было уже во время войны. Он находился тогда под Ухтой, куда был отправлен на неопределенное время. Ему дали после следствия десять лет, и тете Марусе — то же самое, но она отбывала срок в Долинском, в Казахстане. Но что значили решения суда?.. В 1942 году случилась какая-то «волна», когда расстреливали множество людей в лагерях, до того осужденных лишь на работы, на ссылку, на долгое заключение. Повлиял ли на это ход войны (еще не произошло поворота к лучшему под Сталинградом, положение было тяжелым), или снова Берия решил разделаться с теми, кто подробно знал его темные делишки, и легко склонил на это отца,— повода я не знаю.

Тете Марусе вскоре сообщили о смертном приговоре, который вынесли ее мужу... Она выслушала его и умерла от разрыва сердца.

Только во время войны, когда оба они находились в лагерях, он — на севере, она — на юге, им разрешили, наконец, переписку с сыном, находившимся в Москве на попечении своей воспитательницы, Лидии Трофимовны. Она спасла жизнь мальчика, деля с ним свой скудный кусок хлеба, который она зарабатывала теперь на швейной фабрике.

Я читала эти письма теперь, встретившись с Иваном Александровичем Сванидзе (Джоником) через двадцать пять лет. Мы не виделись с 1937 года. Он показал мне эти письма и рассказал все, что знал о судьбе родителей.

В письмах были обычные, нежные, родительские во-

просы к ребенку: здоров ли, как учеба, как устроилась жизнь? Каждый из них надеялся, что о мальчике позаботятся многочисленные родственники. Их было много с той и с другой стороны. Но родственники отказались сделать это. Брат мой Яша хотел было взять мальчика к себе, но жена его умоляла этого не делать: мальчик трудный, балованный, да и вообще, мол, у него есть родственники ближе — тетки и дядьки. Однако, сестра дяди Алеши, Марико, была тогда же арестована и очень быстро погибла в тюрьме. Брат Марии Анисимовны, на заботы которого о сыне она так надеялась, тоже попал в тюрьму; правда, ему повезло,— он жив и сейчас.

Одна лишь Лидия Трофимовна, религиозная старая дева, фанатически обожавшая Александра Семеновича, считала своим *долгом* растить мальчика, пока хватит сил... И она сделала все, что было возможно.

Иван Александрович, несмотря на врожденную неврастению, несмотря на страшную перемену в жизни, бросившую его из роскоши на самое дно, в тюрьму с уголовниками, затем в ссылку в Казахстан, все-таки стал человеком достойным своих чудесных родителей. За одиннадцать лет его счастливой жизни в семье, они успели ему привить много хорошего, многому научить. Запасов этих детских знаний хватило ему очень надолго. И когда в 1956 году, вернувшись из казахстанской ссылки, он получил, наконец, возможность поступить в Московский университет на исторический факультет, то уж учился он на одни пятерки. Аспирантура и защита кандидатской диссертации в Институте Африки АН СССР были для него нетрудным делом. Он унаследовал от родителей величайшую работоспособность. Он только не смог донести до сегодняшнего дня здоровья. Нервы его многого не смогли перенести и часто отказывают. Для близких он трудный, тяжелый человек. Зато для дальних, для студентов института, для избирателей своего райсовета, где он избран депутатом, он человек добрый, душевный, отзывчивый. Добро его бескорыстно, себе он ничего не хочет. Но, воюя за предоставление комнаты какому-нибудь несчастному семейству, живущему в подвале, он может задушить своими руками всех, кто будет этому препятствовать. Грузинский темперамент и непримиримость выбиваются тут из него как пламя. Сам он, родившийся в 1929 году в Берлине, никогда еще в Грузии не был. Будем надеяться, что он еще побывает там, где память его отца окружена уважением и любовью. Дай Бог ему,

здоровья и успехов, Ивану Александровичу, Джонушке, как называл его дядя Алеша в последних письмах.

Ну, что ж, вот и все те, кто был нашим домом, кто был действующими лицами в моем детстве.

Какие страшные судьбы у всех, как по разному все погибали, и как неумолимо.

Дядя Алеша и тетя Маруся погибли, когда им уже было за 50 лет; они успели прожить долгую, интересную, полезную жизнь. Мама, Реденс, дядя Павлуша мало успели сделать, они ушли молодыми. Анна Сергеевна и Федор Сергеевич стали инвалидами, жизнь была у них, по существу, отнята. Бабушка и дедушка жили долго — почти 80 лет,— но жизнь их после маминой смерти была медленным умиранием от всего того, что происходило вокруг.

Круг этих людей когда-то был шумным, дружным, веселым. Остались непринужденные домашние фотографии — на нашей террасе в Зубалове, в саду, в Сочи, куда все ездили летом. Остались дети их всех — двое сыновей и дочь Павлуши, двое сыновей Анны Сергеевны, Иван Александрович Сванидзе, да я,— дети, которые что-то помнят, что-то хранят в сердце, у которых много старых выцветших фотографий с веселыми, милыми добрыми лицами... Все мы помним наше солнечное детство; помним Зубалово-2 и Зубалово-4, где все мы жили, гуляли по лесу, собирали землянику, грибы, и ходили купаться на Москва-реку. Я жила почти семь лет в нормальной, хорошей, интересной семье, которая много давала нам, детям, и стремилась давать. Дети постоянно толпились в доме — мы сами, наши подруги и товарищи, двоюродные братья и сестры. Взрослые были все чадолюбивы, никто на детей не цыкал, не шикал; каждый, как мог, старался их развлекать, учить — дом вертелся вокруг детей. Таково было правило мамы, ее порядок, ее закон.

8

Ну вот, милый мой друг, как я ни оттягивала втайне этот момент, но все же, наконец, мне надо рассказать и о маме — хотя, наверное, ты уже можешь немножко представить себе ее облик. Вокруг нее сложилось много легенд — лживых, сентиментальных, глупых, попросту недоброжелательных. Легенды выдумываются, когда люди не понимают, не знают или не могут объяснить себе какие-то явления. А жизнь мамы была прозрачна, как кристалл. Характер ее был поразительно цельный, убедительный, без внутренних противоречий и изломов. Недолгая жизнь ее — всего тридцать один год (я сейчас уже старше, чем она),— необычайно последовательна. Ведь у каждого человека, у каждого характера — своя логика поступков. Поэтому А не понимает Б, потому что А никогда не мог бы поступить так, как поступил Б в тех же обстоятельствах...

Из мамы делают теперь то святую, то душевнобольную, то невинно убиенную. А она вовсе не была ни тем, ни другим, ни третьим. Она была просто сама собою. С детских лет сложился ее цельный, стойкий характер.

К счастью, у меня имеются ее письма — они очень хорошо раскрывают ее натуру. Анна Сергеевна передала мне недавно копии писем мамы к А. И. и И. И. Радченко, старым друзьям дедушки и бабушки. Письма относятся к 1916-18 годам (кроме последнего, помеченного 1924-ым годом). Их писала гимназистка, которая взрослеет на глазах — ты прочтешь их ниже.

Мама родилась в Баку и ее детство прошло на Кавказе. Южная ее внешность иногда заставляла тех, кто плохо знает Грузию, принимать ее за грузинку. На самом деле такими бывают болгарки, гречанки, украинки — с правильным овалом лица, черными бровями, чуть вздернутым носом, смуглой кожей, и мягкими карими глазами в черных прямых ресницах. Правда, у мамы к этому облику было добавлено что-то от цыган — какая-то восточная томность, печальные глаза, и длинные суховатые пальцы. Она очень любила кутаться в шали, ей это шло; на ней естественно выглядело бы и индийское сари.

В семье она была младшим ребенком. Ее любили и баловали два брата и сестра,— она была к тому же прехорошенькая. У меня сохранились старые открытки, написанные ее детским почерком,— поздравление братьям и сестре с праздником, просьба прислать книгу. Семья была дружная, теплая. В Петербурге дедушка и бабушка жили, по сравнению с нашими сегодняшними нормами, уже с известным достатком, и дети учились в гимназиях. В ранних письмах мамы к друзьям ее родителей, Алисе Ивановне и Ивану Ивановичу Радченко сразу видна веселая, ласковая, добрая девочка пятнадцати лет. Никаких изломов, никакой неврастении, никакой позы.

«Дорогая Алиса Ивановна, простите, что долго не отвечала на письмо. У меня совершенно не было времени. Мне пришлось за десять дней подготовиться к экзаменам, так как летом я лентяйничала. Пришлось мне подогнать новое, в особенности по алгебре и геометрии. Сегодня утром я ходила держать экзамен, но еще не выяснила выдержала или нет. Все же думаю, что выдержала по всем предметам, кроме русского сочинения, хотя тема и была легкая, но я вообще слаба на этот счет.

Прежнюю гимназию пришлось бросить, потому что очень далеко переселились, а теперешняя как раз напротив Николаевского вокзала.

Дорогая А. И., большое спасибо за карточки. Мы с Нюрой[1] тоже снялись. Нюрина карточка уже готова, а моя еще нет. Нюра поступила в Психо-Неврологический институт, но занятия там еще не начались. В нашем доме есть приготовительное училище и учительница там заболела, Нюра ее замещает».

(Письмо от 1-го мая 1916 г.)

Следующее письмо, написанное 10 сентября 1916 года, адресовано Алисе Ивановне и ее маленькому Алеше, которого дома звали Няка.

«Я уже здесь в новой гимназии. Кажется, что ничего, хотя подруг еще не завела, а так только еще приглядываюсь; девочки довольно простые, но не к новеньким. Ну, а так как я новенькая, то ко мне немного неприветливы, но думаю, что со временем все уладится.

Нюру приняли в Псишу[2]. А. И., нам очень интересно,

---

[1] Анна Сергеевна.

[2] Психо-неврологическое училище.

где теперь Иван Иванович, как он поживает и скоро ли будет в Питере? Нам очень хотелось бы с ним повидаться. К нам вряд ли кого заманишь, такая мучительная дорога, а нам приходится каждый день, встаем рано и ложимся так же; сейчас 8 часов, а я уже зеваю, вместе с курами ложимся и с петухами встаем. Как поживает Няка, здоров ли он и все резвится с Лидой? Интересно, как огород поживает и как вы все. Нюра и Федя готовят двух учеников: девочку в четвертый и мальчика — во второй...

Нашего Павлушу, кажется, откомандировали во Псков или Архангельск. Сейчас он был у нас и забрал вещи, сказав, что их отправляют, что немного плоховато, потому что он слаб здоровьем. Ну, больше, кажется, писать нечего. Желаю вам всего хорошего. Целую вас крепко. Передайте всем поклон от наших».

Следующие два письма написаны зимой, в декабре этого же 1916-го года. Те же семейные волнения по поводу Павлушиной службы в армии и того, что могут забрать и Федю.

«Нас скоро распустят на каникулы, а придется Рождество, наверное, провести в Петрограде. Ехать куда-нибудь долго, дорого и трудно. Жизнь в гимназии мне нравится, но я с нею еще не освоилась.

У Няки, наверное, будет елка. Передайте ему, чтобы он с нового года не вздумал хворать, желаю ему весело провести праздники. Привет А. И. и ему. Наши домашние Вам кланяются».

И через десять дней:

«Нас уже распустили на праздники, теперь будем свободны три недели — выспаться можно будет, хотя уроков задали довольно много, особенно по русскому и по истории. Нам уж выдали вторую четверть, пока все благополучно, хотя троек много, но двоек нет. Самый трудный для меня предмет — немецкий, потому что у нас читают, а не переводят, а я совсем не обладаю немецким языком, а также французским. Наконец, я достигла того, что у меня по Закону Божьему пять. Это что-то небывалое, но я всю четверть долбила на-зубок, что ужасно противно. Я очень рада, что поступила в эту гимназию, здесь такие милые, славные девочки, что с ними учиться прямо

удовольствие. Уже начинаю скучать по своему классу, хотя прошло лишь одно воскресенье.

...Старший брат мой сейчас в Новгороде, как Вы уже знаете. Папа и мама скрипят по-прежнему. Я уж больше месяца пишу дневник, меня это очень занимает; когда мне не с кем поговорить, то я выражаю свои чувства в нем. Я очень довольна, что взялась за это дело, хотя может быть оно мне скоро и надоест. Желаю Вам и Няке поправиться и с нового года начать новую, здоровую жизнь»...

В январе 1917 года мама пишет Алисе Ивановне:

...«Завтра из-за холода не пойду в гимназию. Только что вернулась с урока музыки, очень озябла. 3-го января выдержала экзамен на 5! Я очень довольна, что мои труды не пропали зря; мне немного трудно, но бросать я все же не хочу, У вас теперь, наверное, хорошо, и Няка во всю с гор и на коньках катается, а мы сидим в классе и слушаем какой-нибудь скучный предмет, как Закон Божий, когда нужно пользоваться хорошей погодой. Нюра уже тоже ходит в свою Псишу, готовится по латыни: очень извиняется перед Вами, что не пишет.

Я очень жду лета. Дорогая А. И., у меня зародилась мысль, которую я хочу Вам написать: мы как-то с Нюрой и мамой думали, куда мы поедем на дачу? И я высказала свое желание, на которое мама согласилась. Теперь надо Ваше согласие, а именно: если можно, я поехала бы к Вам на Электропередачу, чтобы поступить кем-нибудь служить. Я думаю, что мне уже можно поступить, потому что мне скоро будет шестнадцать лет. Жить, если можно, у Вас... Напишите мне, одобряете ли Вы мое желание, или нет. Нюра едет в Черноморскую губернию к знакомым. Мама получила на три недели отпуск, потому что она очень исхудала и устала, потом она, после отъезда Павлуши, расстроена. Его, наверно, через месяц отправят на позиции — ему сразу сделали три прививки».

Вот письмо от 27 февраля 1917 года, в самый канун революции:

«Наконец-то собралась Вам написать, все это время было страшно некогда. А теперь у нас занятия на четыре дня прекращены, ввиду неспокойного состояния Петрограда, и у меня теперь есть время. Настоящее положение Петрограда очень и очень нервное и мне очень интересно.

что делается в Москве. Наше почти все семейство не дома: Нюра у маминого брата, Федя тоже где-то, папа в городе, а мы с мамой сидим одни и выжидаем папу, потому что его что-то долго нет.

...Занятий у нас после Рождества очень мало, то было холодно, то я болела, а теперь и на улицу не выйдешь. Написала бы подробнее в чем дело, но я думаю, в письме не стоит распространяться. Все эти дни буду читать Чехова, а то очень скучно. Все это надоело и хочется скорее хорошего жаркого лета. Вся эта зима была очень холодная и Няке, наверное, пришлось мало гулять. А теперь желаю Вам всего доброго и крепко целую».

И в догонку, в тот же день, 27-го февраля, послана открытка:

...«Сильно скучаем, так как движения в Петрограде нет уже четыре дня. Но после этих скучных дней настал праздник и большой, а именно — 27-е февраля! Сейчас дома я и папа, а остальные на своих на двоих уехали в город, хотя Нюра, ввиду своей слабости, уже пятый день лежит у дяди и домой не приходит, а Федя ходит. Настроение у папы приподнятое, он весь день стоит у телефона. Сегодня приехал Авель Енукидзе и совершенно неожиданно попал прямо с Николаевского вокзала на праздник. Пока желаю Вам всех благ. Целую. Надя».

Вот и свершился праздник — февральская революция. Пришел дедушка и разъяснил дома, что произошло. Еще не понимают дома, что это такое, но уже приехал Авель Софронович Енукидзе, приехал-то он из ссылки, из Сибири. А надо сказать, что дядя Авель — это мамин крестный, его любила и знала вся семья, и ему собирались всем домом посылки в Сибирь. Отец мой тоже находился в это время в сибирской ссылке, и писал оттуда Ольге Евгеньевне, нашей бабушке. Такие же посылки посылала вся семья Аллилуевых и ему, старому своему другу и товарищу по борьбе.

В письме от 30 марта уже кое-что из событий постепенно начинает интересовать девочку, для которой все еще продолжают быть главным в жизни ее занятия в гимназии:

...«За это короткое время произошло много новостей. Вы, наверное, слышали о неожиданной смерти сына Чхеидзе? Я ходила на похороны и видела отца — картина

очень и очень тяжелая... Но, несмотря на тяжелые обстоятельства, он продолжает свою деятельность. Его ужасно жалко.

13 марта мы все ходили на похороны павших. Порядок был великолепный, хотя нам пришлось в течение семи часов стоять на одном месте, но мы без умолку пели и поэтому время пролетело незаметно. Когда же мы прибыли на Марсово поле в десять часов вечера, нас поразила красота: кругом горели факелы, гремела музыка, в общем зрелище было восхитительное. Пришли домой мы мокрые и усталые, но как-то бодрились и настроение было приподнятое. Наш папа был сотник, у него через плечо была красная повязка, а в руке белый флаг.

Спасибо Вам за приглашение. Занятия у нас идут очень тихо, потому что все заняты другим. У нас после Пасхи будет экзамен по ботанике и зоологии, так что приходится заниматься. Говорят, что занятия будут продолжаться только до 20-го мая, а мы, классы среднего возраста, кончим уже 15-го. Нам очень обидно, что из восьмого, седьмого и шестого выбрали делегаток, а нам сказали, что мы для этого слишком малы и глупы. Но у нас есть свой кружок, в котором мы очень энергично работаем — кружок самообразования. Мы начинаем собирать библиотеку, помогаем друг другу в трудных предметах и вообще наша цель, чтобы наш класс был дружен и объединен в одну сплошную массу. Но, к сожалению, у нас в классе есть очень много деток, которые только мешают нам. Недавно у нас было заседание, оно продолжалось три с половиной часа. Меня все это интересует и я присутствую почти каждый раз. Моя должность — казначейша, хотя я еще неопытна и плохо исполняю, но все довольны мною.

Поздравляю вас всех с настоящим праздником».

Лето 1917 года, июль и август, мама прожила на даче у А. И. и И. И. Радченко. Дедушка был занят своей партийной деятельностью. Летом — в июльские дни — в его квартире несколько дней скрывался Ленин, которому отвели мамину маленькую комнатку. Сейчас в этой квартире музей — на стенах развешены фотографии тех лет, в комнатке же сохранены подлинные вещи: узкая железная кровать, плед, этажерка, столик.

Я была на этой квартире дедушки летом 1955 года, впервые поехав в Ленинград. Мне было так странно, так жутко шагать по ступеням лестницы, по которым мама

бегала в гимназию; так странно было войти в квартиру, где она впервые встретилась с отцом.

На мое счастье посетителей не было в тот день. Я долго бродила по пустым комнатам, постояла в кухне, и старалась вообразить, как жили в этой квартире... Странно было мне, и страннее всего, что — совсем не грустно. Теплом, уютом, любовью крепкой семьи веяло на меня от этих стен, уже принявших теперь, увы, казенный вид «экспозиций». Но, все равно, дух был жив, мамин дух витал где-то здесь, в этой маленькой славной квартире, он никогда не уходил отсюда, он не жил в Кремле — там ему было невмоготу... Кремль всегда был чужим ей местом, и все казенные квартиры, вся последующая ее жизнь — все это было не ее, а чужое. Здесь она была и осталась хорошенькой гимназисткой, получающей первые уроки истории — не из учебников, а из жизни, окружавшей ее. Здесь был дом ее семьи, ее родителей. Здесь был ее город. И не уезжать бы им отсюда никуда,— тогда, быть может, судьба всей семьи обернулась бы совсем иначе, куда счастливее...

После летнего перерыва, осенью 1917 года мама и вся семья опять дома, в Петрограде; 19-го октября мама пишет к Радченко:

...«У нас теперь такая спешка с занятиями, да у меня еще часа два в день отнимает музыка. Вот я Вам пишу — уже 12-й час, а я еще не выучила французский. И так каждый день, раньше часу не ложусь. Уже все лягут, а я все еще сижу, долблю...

Уезжать из Питера мы никуда не собираемся. С провизией пока что хорошо. Яиц, молока, хлеба, мяса можно достать, хотя дорого... В общем жить можно, хотя настроение у нас (и вообще у всех) ужасное, временами прямо плачешь: ужасно скучно, никуда не пойдешь. Но на днях с учительницей музыки была в Музыкальной драме и видела «Сорочинскую ярмарку», остались очень довольны. В Питере идут слухи, что 20-го октября будет выступление большевиков, но это все, кажется, ерунда. Ну, пока всего хорошего. Когда опять будет время, напишу Няке, а пока очень благодарю его за его письмо. Целую крепко, привет вам от всех наших».

Однако, «выступление большевиков» состоялось.

Уже после октябрьского переворота, 11 декабря 1917 года, мама пишет:

«Дорогая А. И.! Прошу прощения за долгое молчание. Живу я пока хорошо, хотя и скучно, но мы ведь всегда так жили. Занятия у нас идут плохо. Два раза в неделю выключают электричество и, значит, занимаемся только четыре раза в неделю. Сообщите мне, получает ли Ив. Ив. газеты. Я ему выписала три... Хотела купить Ив. Ив. еще папирос, но такая большая очередь, прямо беда! Надо вставать с ночи, причем даже дают очень мало... Дорогая А. И., я теперь в гимназии все воюю. У нас как-то собирали на чиновников деньги, и все дают по два, по три рубля. Когда подошли ко мне, я говорю: «Я не жертвую». Меня спросили: «Вы, наверно, позабыли деньги?». А я сказала, что вообще не желаю жертвовать. Ну и была буря! А теперь все меня называют большевичкой, но не злобно, любя. Мне очень интересно, к какой партии принадлежит Алеша, он-то, наверное, большевик...

Я уже два месяца занимаюсь по музыке, успехи — так себе, не знаю, что будет дальше. А пока до свидания, мне еще надо несчастный Закон Божий учить».

Наступил 1918 год.

Два письма к Алисе Ивановне, написанные в январе и в феврале, полны забот о хозяйстве, о доме, и новых интересов...

«Здравствуйте, дорогая А. И.! Простите, что давно не писала, я совсем разленилась за праздники. Всегда так: чем больше времени, тем больше лени. Поздравляю с Новым Годом. У нас он совсем изменил нашу домашнюю жизнь. Дело в том, что мама больше не живет дома, так как мы стали большие и хотим делать и думать так, как мы хотим, а не плясать под родительскую дудку; вообще — порядочные анархисты, а это ее нервирует. Хотя это второстепенные доводы, а главное то, что у нас дома для нее уже нет больше личной жизни, а она еще молодая и здоровая женщина. Теперь все хозяйство пало на меня. Я изрядно за этот год выросла и стала совсем взрослая, и меня это радует.

Занятия в гимназии идут страшно вяло. Всю эту неделю посещаем Всероссийский съезд Советов Раб. и Солд. и Крест. депутатов. Довольно интересно, в особенности когда говорят Троцкий или Ленин, остальные говорят очень вяло и бессодержательно. Завтра, 17 января, будет последний день Съезда и мы все обязательно пойдем.

А вы как все живете? Мне особенно интересно знать как поживает шалун Алешка. Знаете ли Вы что-нибудь о Красиных? Они что-то загордились и не ответили на наши письма. Мой недостаток: стала очень злая и грубая, но я надеюсь, что это пройдет.

Федя покинул военное училище и поступил в Академию на математический факультет. Я была в роли мамаши и все за него хлопотала и, наконец, он устроился. Он одновременно и служит, и учится. Мне даже стыдно становится, что все у нас служат, а одна я лодырничаю и больше всех трачу. Хотя меня вообще все любят».

И вот последнее письмо мамы из Петрограда, написанное в феврале 1918 года:

«Здравствуйте, дорогие. Я очень рада, что вы, наконец-то, получили посланные мною папиросы. Кстати, они теперь, наверное, нужнее, чем раньше. Только почему вы ничего не пишете насчет газет, получаете ли вы их? На февраль я уже побоялась выписать, боясь, что вы их не получаете.

Возня с хозяйством мне страшно надоела, но теперь, кажется, мама меня скоро опять заменит,— ей очень скучно жить без своей шумной оравы. Мы ей, конечно, страшно рады. Отец пролежал в постели три недели, сперва с ангиной, а только вышел он, садясь в трамвай, сильно ушиб ногу. Теперь начинает понемногу двигаться. Я во время его болезни была и за хозяйку, и за сестру милосердия, плюс гимназия, где пропустила дня три-четыре.

В Питере страшная голодовка, в день дают восьмушку фунта хлеба, а один день и совсем не давали. Я даже обругала большевиков. Но с 18-го февраля обещали прибавить. Посмотрим!

...Я фунтов на двадцать убавилась, вот и приходится перешивать все юбки и белье,— все валится. Меня даже заподозрили, не влюблена ли я, что так похудела.

Приехал к нам на десять дней Павлуша и опять уехал. Он записался в новую социалистическую армию, хотя говорят, что ему страшно надоел фронт. Мама его бранила, а мы на ура подняли. Отец тоже хочет записаться, но, конечно, шутит. Как живет Алешка? Скажите ему, чтобы он написал мне письмецо, ведь он, наверно, уже хорошо умеет писать.

Ну, целую крепко. Остаюсь Надя».

Вскоре мама вышла замуж, и приехала с мужем в Москву. Там она стала работать в секретариате у В. И. Ленина, у Л. А. Фотиевой. Затем уехала с моим отцом на южный фронт.

Кончилось детство, беззаботное, счастливое. Началась другая жизнь — не для нее одной, для всей огромной России.

Мама и позже виделась с семьей Радченко. Вот ее последнее письмо И. И. Радченко, написанное ею через шесть лет:

«Дорогой Иван Иванович!

Я к Вам обращаюсь с большой просьбой, если Вам не неприятно давать мне рекомендацию для перехода из кандидатов в члены ВКП, то я очень прошу Вас дать мне рекомендацию. Я хотела сегодня зайти к Вам сама, но мне нужно ровно в девять часов быть в СНК и я не успела бы сама к девяти часам вернуться. Рекомендацию мою надо написать на отдельном листе и самую простую. К Вам же я как-либо зайду обязательно, но сейчас сама никак не смогу. Простите, что беспокою, и заранее большое Вам спасибо. Привет Алисе Ив. и Алешке.

9. VIII. 24 г.

Надя Аллилуева».

Какая-то сквозит в письмах наивность и чистота. Ведь ребенок же еще, и вдруг на плечи этого ребенка свалилась такая судьба! Хватило бы только лишь революции с гражданской войной, и разрухой... Нет, на ребенка еще свалилась камнем любовь к человеку на 22 года старше, вернувшемуся из ссылки, с тяжелой жизнью революционера за плечами; к человеку, итти рядом с которым, нелегко было и товарищам. А она пошла рядом, как маленькая лодочка, привязанная к огромному океанскому пароходу,— так я и вижу эту «пару» рядом, бороздящую бешеный океан...

А она, еще когда влюбилась и в гимназию ходила, старалась изо всех сил *соответствовать* большому кораблю в его большом плавании. И старалась так, что сама не заметила, как росла и росла, и становилась серьезным, умным, взрослым человеком. А потом, должно быть, что-то и больше даже стала понимать, чем он сам...

У нее была другая перспектива, другой рост: она только начала расти, когда революция свершилась,— а он уже был зрелым сорокалетним человеком, вступившим в

пору скепсиса, рассудочности, холодного расчета — всего того, что так важно для политика.

Я почему-то очень ясно сейчас, когда мне 37 лет, вижу очень разные души этих двух людей, соединившихся в семью. В какой-то момент это ощущение романтичности, окрыленности, этот юный энтузиазм революции, неминуемо должен будет у нее смениться зрелой трезвостью. И вот тогда она увидит все несколько иными глазами. Но не будем забегать вперед.

Теперь я перейду прямо к годам своего детства, потому что там-то я видела маму, там мне она и помнится. Но, читая все то, что происходило позже, прошу тебя, друг мой, не забывай ни на минуту об этих ее ранних письмах: в душе она и позже всегда оставалась такой же как тогда. И сопоставляя эту совестливую и честную душу с тем трудным миром, в котором она жила уже второй десяток лет,— ты поймешь как это все было не по ней, как ей было трудно...

Но она все-таки сумела за это время создать жизнь — пусть недолгую — но такую, которую помнят с благодарностью все, кто знал наш дом тогда и бывал в нем — жизнь, которая для меня и по сей день сияет в памяти солнечным детством.

9

Мама была строга с нами, детьми — неумолима, недоступна. Это было не по сухости души, нет, а от внутренней требовательности к нам и к себе. Я запомнила маму очень красивой,— она, наверное, не только мне казалась такой. Я не помню точно лица, но общее впечатление чего-то красивого, изящного, легко двигающегося, хорошо пахнущего. Это было неосознанное впечатление детства, просто так чувствовалась ее атмосфера, ее натура. Она редко ласкала меня, а отец меня вечно носил на руках, любил громко и сочно целовать, называть ласковыми словами — «воробушка», «мушка». Однажды я прорезала новую скатерть ножницами. Боже мой, как больно отшлепала меня мама по рукам! Я так ревела, что пришел отец, взял меня на руки, утешал, целовал и кое-как успокоил... Несколько раз он так же спасал меня от банок и горчичников,— он не переносил детского плача и крика. Мама же была неумолима и сердилась на него за «баловство».

Вот одно единственное сохранившееся мамино письмо ко мне, написанное году в 1930-м или 31-м.

«Здравствуй, Светланочка!

Вася мне написал, что девочка что-то пошаливает усердно. Ужасно скучно получать такие письма про девочку. Я думала, что оставила девочку большую, рассудительную, а она, оказывается, совсем маленькая и, главное, не умеет жить по-взрослому. Я тебя прошу, Светланочка, поговорить с Н. К.,[1] как бы так наладить все дела твои, чтобы я больше таких писем не получала. Поговори обязательно и напиши мне, вместе с Васей или Н. К. письмо о том, как вы договорились обо всем. Когда мама уезжала, девочка обещала очень, очень много, а оказывается, делает мало.

Так ты обязательно мне ответь как ты решила жить дальше, по серьезному или как-либо иначе.

Подумай как следует, девочка уже большая и умеет думать. Читаешь ли ты что-нибудь на русском языке? Жду от девочки ответ.

Твоя мама».

---

[1] Наталия Константиновна, наша воспитательница и учительница.

Вот и все. Ни слова ласки. Проступки «большой девочки», которой было тогда лет пять с половиной или шесть, наверно были невелики; я была спокойным, послушным ребенком. Но спрашивалось с меня строго.

Отец писал мне другие письма.

У меня сохранилось два его письма, должно быть, того же времени (т. е. 1930-32 гг.), потому что отец написал их крупными, ровными печатными буквами. Письма оканчиваются неизменным «целую» — это отец очень любил делать, пока я не выросла. Называл он меня (лет до шестнадцати, наверное) «Сета́нка» — это я так себя называла, когда была маленькая. И еще он называл меня «Хозяйка», потому что ему очень хотелось, чтобы я, как и мама, была в роли хозяйки активным началом в доме. И еще он любил говорить, если я чего-нибудь просила: «Ну, что́ ты просишь! Прикажи только, и мы все тотчас все исполним». Отсюда — игра в «приказы», которая долго тянулась у нас в доме. А еще была выдумана «идеальная девочка» — Лелька, которую вечно ставили мне в пример, — она все делала так, как надо, и я ее ненавидела за это. После этих разъяснений я могу теперь привести и его письма тех лет:

«Сетанке-хозяйке.

Ты, наверное, забыла папку. Потому-то и не пишешь ему. Как твое здоровье? Не хвораешь-ли? Как проводишь время? Лельку не встречала? Куклы живы? Я думал, что скоро пришлешь приказ, а приказа нет, как нет. Нехорошо. Ты обижаешь папку. Ну целую. Жду твоего письма.

Папка»

Все это старательно выведено крупными печатными буквами. И другое письмо тех же лет:

«Здравствуй, Сетанка!

Спасибо за подарки. Спасибо также за приказ. Видно, что не забыла папу. Если Вася и учитель уедут в Москву, ты оставайся в Сочи и дожидайся меня. Ладно? Ну, целую.

Твой папа».

Вся переписка с родителями шла между Зубаловом и Сочи, куда они уезжали летом, а мы оставались на даче,

или наоборот. Я привожу параллельно письмо мамы и письма отца, потому что они характерны для их отношения к детям. Отец нас не стеснял (правда, он был очень строг и требователен к Василию), баловал, любил играть со мной,— я была его развлечением и отдыхом. Мама же больше жалела Василия, а ко мне была строга, чтобы компенсировать ласки отца. Но, все равно, я ее любила больше...

Я очень хорошо помню как однажды спросила свою няню: «А почему это так: вот из бабушки и дедушки я люблю больше дедушку, а из папы и мамы — больше люблю маму?». Няня моя всплеснула руками и набросилась на меня: «А как же бабушку-то? А как же папочку-то? Всех надо любить! Разве так можно?!». Она долго ужасалась и корила меня. Всех надо любить — это был девиз всей ее жизни, а также хорошая выучка добросовестной прислуги: не делать никакого различия между хозяевами и не внушать этого детям; ее личные симпатии никогда не открывались мне, она ко всем относилась ровно.

Мама бывала с нами очень редко. Вечно загруженная учебой, службой, партийными поручениями, общественной работой, она где-то находилась вне дома. А мы были тоже загружены уроками, прогулками с учителем или Наталией Константиновной, собиранием гербариев, уходом за кроликами — только, чтобы не было безделья! Правило, высказанное ею еще в одном из гимназических ее писем: «чем больше времени, тем больше лени» — мама неукоснительно применяла к своим детям. Кроме немецкого, общих занятий по русскому и арифметике, кроме рисования и лепки с Наталией Константиновной, мама еще определила меня в музыкальную дошкольную группу. Это была группа детей, человек в двадцать, которых родители приводили на квартиру к Ломовым. К ним, в Спасо-Песковский переулок, няня водила меня года два. Это были чудесные занятия. Дети пели хором и соло, играли в игры, направленные на развитие слуха, чувства ритма; потом нам объясняли нотную грамоту и мы писали нотные диктанты — у меня хорошо получалось. И мама очень была довольна, что эти занятия проходят не зря. К сожалению, я уже не помню, как звали милую преподавательницу, давшую тогда нам всем какие-то основы музыкальной грамоты. А няня моя умерла и мне сейчас некого спросить, ни как звали ее, ни как звали хозяев, самих Ломовых, ни кто они были. У них в доме были хорошие дет-

ские книги. Оттуда появился у меня «Макс и Мориц» и мы вместе с няней читали вслух эту книжку, а няня, хорошо запоминавшая всякие стихи, потом часто цитировала ее на память...

Несмотря на недостаток времени, мама и сама продолжала заниматься музыкой с известной всему тогдашнему Кремлю преподавательницей — Александрой Васильевной Пухляковой. Я встретилась с ней много позже. Занималась мама и французским, не знаю — с кем, и не знаю, чего ей удалось достигнуть. Во всяком случае, чтобы не отставать от славных, образованных людей окружавших ее, ей самой хотелось еще учиться и совершенствоваться.

Она была так молода, у нее вся жизнь еще была впереди. В 1931 году ей только лишь исполнилось 30 лет. Она училась в Промышленной Академии на факультете искусственного волокна. Это была новая область для тех лет, новая промышленная химия. Из мамы получился бы отличный специалист. Остались ее тетрадки — аккуратные, чистенькие, наверное, образцовые. Она отлично чертила, и дома, в ее комнате стояла чертежная доска. В Академии учились ее приятельницы — Дора Моисеевна Хазан (жена А. А. Андреева) и Мария Марковна Каганович. Секретарем партячейки у них был молодой Никита Сергеевич Хрущев, приехавший в Академию из Донбасса. После окончания Академии он стал профессиональным партийным работником. А мамины приятельницы стали работать в текстильной промышленности. Она жаждала самостоятельной работы, ее угнетало положение «первой дамы королевства».

Как-то раз — это была редкость — мама провела целый день с нами в Зубалове; должно быть, нужно было заменить учительницу. Она что-то убирала, что-то шила, что-то обсуждала с няней, проверяла мои тетрадки. Сентиментального сюсюканья с детьми она терпеть не могла, но зато, когда у нас в Зубалове делали детскую спортивную площадку, то уж она сама выдумывала, как ее интереснее устроить. И «Робинзоновский домик» на деревьях, наверное, возник не без ее участия. Она любила фотографировать и хорошо это делала. Все наши семейные фотографии в Зубалове и в Сочи — сделаны ею. Она снимала детей, природу вокруг, самый дом. Благодаря ей остались фотографии нашего дома в Зубалове, дачи в Сочи, куда меня тоже возили, еще с мамой; снимки первого дома, построенного для отца в Сочи архитектором

М. И. Мержановым. Потом отец, одержимый страстью перестраивать, переделал все эти дома до неузнаваемости. Слава Богу, их можно узнать на снимках, сделанных мамой — узнать и вспомнить...

Она была после нас, детей,— самой молодой в доме. Учительницы, няня — все были старше, всем было за сорок; экономка наша, Каролина Васильевна, повариха Елизавета Леонидовна — были пожилые женщины за пятьдесят лет. Но все равно, все любили молодую, красивую, деликатную хозяйку — она была признанный авторитет. Старший брат мой Яша был моложе мамы только на семь лет. Она очень нежно к нему относилась, заботилась о нем, утешала его в первом неудачном браке, когда родилась дочка и вскоре умерла. Мама очень огорчалась и старалась сделать жизнь Яши возможно более сносной, но это было вряд ли возможно, так как отец был недоволен его переездом в Москву (на этом настоял дядя Алеша Сванидзе), недоволен его первой женитьбой, его учебой, его характером — словом, всем.

Должно быть, на маму произвела очень тягостное впечатление попытка Яши покончить с собой. Доведенный до отчаяния отношением отца, совсем не помогавшего ему, Яша выстрелил в себя у нас в кухне, на квартире в Кремле. Он, к счастью, только ранил себя,— пуля прошла навылет. Но отец нашел в этом повод для насмешек: «Ха, не попал!» — любил он поиздеваться. Мама была потрясена. И этот выстрел, должно быть, запал ей в сердце надолго и отозвался в нем...

Яша очень любил и уважал мою маму, любил меня, любил маминых родителей. Дедушка и бабушка опекали его как могли, и он уехал потом в Ленинград и жил там на квартире у дедушки, Сергея Яковлевича.

Осталось много домашних фотографий, глядя на которые я могу вспомнить и все остальное. Фотографии эти у меня на глазах растут, наполняются красками, фигуры начинают двигаться, я слышу как они разговаривают между собой... Это для меня застывшие кадры фильма. Я смотрю на них и передо мной приходит в движение вся лента кино,— ведь я ее видела когда-то...

На фото домашних пикников в лесу, которые все так любили, и отец, и мама — веселые, смеющиеся. Много веселых, счастливых, здоровых лиц вокруг. Отец выглядит гораздо моложе своих пятидесяти лет (ему было пятьдесят в 1929 году). Мама, сияющая белозубой улыбкой, молодая, цветущая, грациозная. Все женщины — в

скромнейших платьицах, но какие красивые, какие здоровые и привлекательные лица!

Мама на балконе нашего Зубалова, за столом с Анной Сергеевной; за столом с Зиной Орджоникидзе.

Мама в садике в Сочи, на лежанке сидит семейство Орахелашвили,[1] дядя Авель Енукидзе строгает палочку бамбука.

Мама в Крыму, в Мухолатке, куда ездили отдыхать родители,— на берегу моря, а из воды высовываются рожицы в белых панамках: мой брат Василий и его друзья — Артем Сергеев и Женя Курский.

Мама на террасе в Мухолатке, возле белых мраморных львов,— на ней прямое платье балахоном, по тогдашней моде, с вырезом карэ и короткими рукавами,— загорелая, с зачесанными гладкими волосами, собранными в узел сзади.

Мама в Зубалове, на нашей лесной дорожке к калитке. Приехали «высокие гости» из Турции. К. Е. Ворошилов, В. М. Молотов, М. М. Литвинов — все гуляют, очевидно, всех «принимал» отец. Тут же я — для развлеченья. Мама с шалью на плечах, лицо ее напряжено — она следит за мной, чтобы я себя «вела хорошо».

Мама опять в шали на плечах, за столиком в Зубалове; это домашнее фото было увеличено после ее смерти по желанию отца. И большие увеличенные фотографии были развешаны по всем комнатам нашей новой квартиры в Кремле.

Мама здесь такая счастливая, такая сияющая, что глядя на это фото немыслимо, невозможно понять ее дальнейшую судьбу — вот почему многие и не понимали, и не верили...

Но, чем дальше, тем фотографии становятся печальнее. Хорошие портреты, сделанные Н. А. Свищовым-Паола в Москве, уже исполнены грусти. Лицо ее замкнуто, гордо, печально. К ней страшно подойти близко, неизвестно, заговорит ли она с тобой. И такая тоска в глазах, что я и сейчас не в силах повесить портрет в своей комнате и смотреть на него; такая тоска, что кажется, при первом же взгляде этих глаз, должно было быть понятно всем людям, что человек обречен, что человек погибает, что ему надо чем-то помочь. Почему же, думаю я теперь, ни-

---

[1] М. Орахелашвили: Председатель Совнаркома Грузии, арестованный в 1937 г.

кто не кинулся помочь? Почему никто не понимал, чем это все может кончиться?

Мама была очень скрытной и самолюбивой. Она не любила признаваться, что ей плохо. Не любила обсуждать свои личные дела. За это на нее обижались и бабушка, и ее сестра, Анна Сергеевна,— сами они были чрезвычайно открытые, откровенные,— что на уме, то и на языке.

Теперь, когда я уже сама взрослая, я больше понимаю ее, и даже маленькие детали и штрихи ее жизни, которые иногда проскальзывают в чужих рассказах, говорят мне много.

Мамина сестра, Анна Сергеевна, говорила мне не так давно, что в последние годы своей жизни маме все чаще приходило в голову — уйти от отца. Анна Сергеевна всегда говорит, что мама была «великомученицей», что отец был для нее слишком резким, грубым и невнимательным, что это страшно раздражало маму, очень любившую его. Как-то еще в 1926 году, когда мне было полгода, родители рассорились и мама, забрав меня, брата и няню, уехала в Ленинград к дедушке, чтобы больше не возвращаться. Она намеревалась начать там работать и постепенно создать себе самостоятельную жизнь. Ссора вышла из-за грубости отца, повод был невелик, но, очевидно, это было уже давнее, накопленное раздражение. Однако, обида прошла. Няня моя рассказывала мне, что отец позвонил из Москвы и хотел приехать «мириться», и забрать всех домой. Но мама ответила в телефон, не без злого остроумия: «Зачем тебе ехать, это будет слишком дорого стоить государству! Я приеду сама». И все возвратились домой...

Анна Сергеевна говорит, что в самые последние недели, когда мама заканчивала Академию, у нее был план уехать к сестре в Харьков,— где работал Реденс в украинской ЧК,— чтобы устроиться по своей специальности и жить там. Анна Сергеевна все время повторяет, что у мамы это было настойчивой мыслью, что ей очень хотелось освободиться от своего «высокого положения», которое ее только угнетало. Это очень похоже на истину. Мама не принадлежала к числу практических женщин — то, что ей «давало» ее «положение» абсолютно не имело для нее значения. Этого никак не могут понять женщины трезвые, рассудительные (вроде моей бывшей свекрови З. А. Ждановой, называвшей маму «душевнобольной», ибо «не было причин» ей томиться и страдать! Любая из

них смирилась бы вообще с чем угодно, лишь бы вовеки не потерять это дарованное судьбой «место наверху».

А мама стеснялась подъезжать к Академии на машине, стеснялась говорить там — кто она (и многие подолгу не знали, чья жена Надя Аллилуева). А в те годы вообще жизнь была куда проще,— отец еще ходил пешком по улицам, как все люди (правда, он больше любил всегда машину). Но и это казалось чрезмерным выпячиванием среди остальных. Она честно верила в правила и нормы партийной морали, предписывавшей партийцам скромный образ жизни. Она стремилась придерживаться этой морали, потому что это было близко ей самой, ее семье, ее родителям, ее воспитанию.

Один пример очень характерен в этом смысле. После смерти Ленина (а, может быть, и раньше), было принято постановление ЦК о том, что члены ЦК не имеют права получать гонорар за печатание своих партийных статей, книг,— и что эти средства должны итти в пользу партии. Мама была этим недовольна, потому что считала — лучше получать то, что ты действительно заработал, чем бесконечно, без всяких лимитов, лазить в карман казны и брать оттуда на свои домашние нужды, на дачи, машины, содержание прислуги, и т. п. Тогда еще только-только начиналось казенное содержание домов членов правительства. Слава Богу, мама не дожила до этого и не увидела как потом, отказываясь от гонораров за партийные труды, наши знатные партийцы со всеми чадами, домочадцами и всеми дальними родственниками сели на шею государству.

Все дело было в том, что у мамы было свое понимание жизни, которое она упорно отстаивала. Компромисс был не в ее характере. Она принадлежала сама к молодому поколению революции — к тем энтузиастам-труженикам первых пятилеток, которые были убежденными строителями новой жизни, сами были новыми людьми, и свято верили в свои новые идеалы человека, освобожденного революцией от мещанства и от всех прежних пороков. Мама верила во все это со всей силой революционного идеализма, и вокруг нее было тогда очень много людей, подтверждавших своим поведением ее веру. И среди всех, самым высоким идеалом нового человека показался ей некогда отец. Таким он был в глазах юной гимназистки,— только что вернувшийся из Сибири «несгибаемый революционер», друг ее родителей. Таким он был для нее долго, но не всегда...

И я думаю, что именно потому что она была женщиной умной и внутренне бесконечно правдивой, она своим сердцем поняла, в конце концов, что отец — не тот новый человек, каким он ей казался в юности, и ее постигло здесь страшное, опустошающее разочарование.

Моя няня говорила мне, что последнее время перед смертью мама была необыкновенно грустной, раздражительной. К ней приехала в гости ее гимназическая подруга, они сидели и разговаривали в моей детской комнате (там всегда была «мамина гостиная»), и няня слышала как мама все повторяла, что «все надоело», «все опостылело», «ничего не радует»; а приятельница ее спрашивала: «Ну, а дети, дети?». «Всё, и дети»,— повторяла мама. И няня моя поняла что, раз так, значит, действительно ей надоела жизнь... Но и няне моей, как и всем другим, в голову не могло прийти предположение, что она сможет через несколько дней наложить на себя руки...

К сожалению, никого из близких не было в Москве в ту осень 1932 года. Павлуша и семья Сванидзе были в Берлине; Анна Сергеевна с мужем — в Харькове, дедушка был в Сочи. Мама заканчивала Академию и была чрезвычайно переутомлена.

Ей, с ее некрепкими нервами, совершенно нельзя было пить вино; оно действовало на нее дурно, поэтому она не любила и боялась, когда пьют другие. Отец как-то рассказывал мне, как ей сделалось плохо после вечеринки в Академии,— она вернулась домой совсем больная оттого, что выпила немного и ей стало сводить судорогой руки. Он уложил ее, утешал, и она сказала: «А ты, все-таки, немножко любишь меня!...». Это он сам рассказывал мне уже после войны,— в последние годы он все чаще и чаще возвращался мыслью к маме и все искал «виновных» в ее смерти.

Мое последнее свидание с ней было чуть ли не накануне ее смерти, во всяком случае за один-два дня. Она позвала меня в свою комнату, усадила на свою любимую тахту (все, кто жил на Кавказе, не могут отказаться от этой традиционной тахты), и долго внушала, какой я должна быть и как должна себя вести. «Не пей вина!» — говорила она, — «никогда не пей вина!». Это были отголоски ее вечного спора с отцом, по кавказской привычке всегда дававшего детям пить хорошее виноградное вино. В ее глазах это было началом, которое не приведет к добру. Наверное, она была права,— брата моего Василия впоследствии погубил алкоголизм. Я долго сидела у нее

в тот день на тахте, и оттого, что встречи с мамой вообще были редки, хорошо запомнила эту, последнюю.

«Ты, все-таки, немножко любишь меня!» — сказала она отцу, которого она сама продолжала любить, несмотря ни на что... Она любила его со всей силой цельной натуры однолюба, как ни восставал ее разум,— сердце было покорено однажды, раз и навсегда. К тому же мама была хорошей семьянинкой, для нее слишком много значили муж, дом, дети, и ее собственный долг перед ними. Поэтому — я так думаю — вряд ли она смогла бы уйти от отца, хотя у нее не раз возникала такая мысль. Вряд ли... К числу порхающих женщин ее никак нельзя было отнести, она была слишком строгой к самой себе.

Ее называли «строгой», «серьезной» не по годам,— она выглядела старше своих лет только потому, что была необычайно сдержанна, деловита и не любила позволять себе «распускаться». Визиты бабушки и Анны Сергеевны ее раздражали — по словам моей няни — именно потому, что обе эти добрые, открытые женщины требовали от нее откровенности. Для них самих было так естественно жаловаться и плакать — она же этого не терпела.

Это сдерживание себя, эта страшная внутренняя самодисциплина и напряжение, это недовольство и раздражение, загоняемое внутрь, сжимавшееся внутри все сильнее и сильнее как пружина, должны были, в конце концов, неминуемо кончиться взрывом; пружина должна была распрямиться со страшной силой...

Так и произошло. А повод был не так уж и значителен сам по себе и ни на кого не произвел особого впечатления, вроде «и повода-то не было». Всего навсего небольшая ссора на праздничном банкете в честь XV годовщины Октября. «Всего навсего», отец сказал ей: «Эй, ты, пей!». А она «всего навсего» вскрикнула вдруг: «Я тебе не — ЭЙ!» — и встала, и при всех ушла вон из-за стола.

Моя няня, незадолго до своей смерти, когда уж почувствовала что недолго осталось ей жить как-то начала мне рассказывать, как все это случилось. Ей не хотелось уносить с собой это, хотелось очистить душу, исповедоваться. Мы сидели с ней в лесочке, недалеко от той дачи, где я сижу и пишу сейчас, и она говорила.

Каролина Васильевна Тиль, наша экономка, утром всегда будила маму, спавшую в своей комнате. Отец ложился у себя в кабинете или в маленькой комнатке с те-

лефоном, возле столовой. Он и в ту ночь спал там, поздно возвратясь с того самого праздничного банкета, с которого мама вернулась раньше.

Комнаты эти были далеко от служебных помещений, надо было итти туда коридорчиком мимо наших детских. А из столовой комната, где спал наш отец, была влево; а в мамину комнату из столовой надо было пройти вправо и еще этим коридорчиком. Комната ее выходила окнами в Александровский сад, к Троицким воротам. (...Если теперь встать около касс театра Дворца съездов и смотреть чуть правее Дворца съездов, через Александровский сад, то там виднеется здание Потешного дворца, выстроенного в древнерусском стиле. У него острая крыша, а в сад выходят окна,— там окна и маминой комнаты. Я не люблю смотреть в ту сторону...)

Каролина Васильевна рано утром, как всегда, приготовила завтрак в кухне и пошла будить маму. Трясясь от страха она прибежала к нам в детскую и позвала с собой няню,— она ничего не могла говорить. Они пошли вместе. Мама лежала вся в крови возле своей кровати; в руке был маленький пистолет «Вальтер», привезенный ей когда-то Павлушей из Берлина. Звук его выстрела был слишком слабый, чтобы его могли услышать в доме. Она уже была холодной. Две женщины, изнемогая от страха что сейчас может войти отец, положили тело на постель, привели его в порядок. Потом, теряясь, не зная, что делать, побежали звонить тем, кто был для них существеннее,— начальнику охраны, Авелю Софроновичу Енукидзе, Полине Семеновне Молотовой, близкой маминой подруге...

Вскоре все прибежали. Отец все спал в своей комнатушке, слева от столовой. Пришли В. М. Молотов, К. Е. Ворошилов. Все были потрясены и не могли поверить...

Наконец, и отец вышел в столовую. «Иосиф, Нади больше нет с нами»,— сказали ему.

Так мне рассказывала моя няня. Я верю ей больше, чем кому-либо другому. Во-первых, потому что она была человеком абсолютно бесхитростным. Во-вторых, потому что этот ее рассказ был *исповедью* предо мной, а простая женщина, настоящая христианка не может лгать в этом, никогда...

Полина Семеновна Молотова (Жемчужина) рассказывала мне очень похоже о том же. Ее рассказ по времени совпал с рассказом моей няни — это было в 1955-ом

году. Полина Семеновна сама недавно возвратилась из ссылки из Казахстана, где она провела четыре года (1949—1953).

Полина Семеновна была тоже на том самом ноябрьском банкете, где была и мама и все остальные. Все были свидетелями ссоры и маминого ухода, но никто не придал ему серьезного значения. Полина Семеновна ушла тогда вместе с мамой, чтобы не оставлять ее совсем одну. Они вышли, несколько раз обошли вокруг Кремлевского дворца, гуляя, пока мама не успокоилась.

«Она успокоилась и говорила уже о своих делах в Академии, о перспективах работы, которые ее очень радовали и занимали. Отец был груб, ей было с ним трудно — это все знали; но ведь они прожили уже немало лет вместе, были дети, дом, семья, Надю все так любили... Кто бы мог подумать! Конечно, это не был идеальный брак, но бывает ли он вообще?»

«Когда она совсем успокоилась,— рассказывала Полина Семеновна,— мы разошлись по домам, спать. Я была в полной уверенности, что все в порядке, все улеглось. А утром нам позвонили с ужасным известием...»

10

Я помню как нас, детей, вдруг неожиданно утром в неурочное время отправили гулять. Помню как за завтраком утирала платочком глаза Наталия Константиновна. Гуляли мы почему-то долго. Потом нас вдруг повезли на дачу в Соколовку,— мрачный, темный дом, куда мы все стали ездить этой осенью вместо нашего милого Зубалова.

В Соколовке всегда было на редкость угрюмо, большой зал внизу был темным, повсюду были какие-то темные углы и закоулки; в комнатах было холодно, непривычно, неуютно. Потом, к концу дня, к нам приехал Климент Ефремович,[1] пошел с нами гулять, пытался играть, а сам плакал. Я не помню, как мне сказали о смерти, как я это восприняла,— наверное, потому что этого понятия для меня тогда еще не существовало...

Я что-то поняла лишь когда меня привезли в здание, где теперь ГУМ, а тогда было какое-то официальное учреждение, и в зале стоял гроб с телом и происходило прощание. Тут я страшно испугалась, потому что Зина Орджоникидзе взяла меня на руки и поднесла близко к маминому лицу — «попрощаться». Тут я, наверное, и почувствовала смерть, потому что мне стало страшно — я громко закричала и отпрянула от этого лица, и меня поскорее кто-то унес на руках в другую комнату. А там меня взял на колени дядя Авель Енукидзе, и стал играть со мной, совал мне какие-то фрукты, и я снова позабыла про смерть. А на похороны меня уже не взяли,— только Василий ходил.

Мне рассказывали потом, когда я была уже взрослой; что отец был потрясен случившимся. Он был потрясен, потому что он не понимал: за что? Почему *ему* нанесли такой ужасный удар в спину? Он был слишком умен, чтобы не понять, что самоубийца всегда думает «наказать» кого-то — «вот, мол», «нá вот тебе», «ты будешь знать!». Это он понял, но он не мог осознать — почему? За что его так наказали?

И он спрашивал окружающих: разве он был невнимателен? Разве он не любил и не уважал ее, как жену, как человека? Неужели так важно, что он не мог пойти с ней лишний раз в театр? Неужели это важно?

---

[1] К. Е. Ворошилов.

Первые дни он был потрясен. Он говорил, что ему самому не хочется больше жить. (Это говорила мне вдова дяди Павлуши, которая вместе с Анной Сергеевной оставалась первые дни у нас в доме день и ночь). Отца боялись оставить одного, в таком он был состоянии. Временами на него находила какая-то злоба, ярость. Это объяснялось тем, что мама оставила ему письмо.

Очевидно, она написала его ночью. Я никогда, разумеется, его не видела. Его, наверное, тут же уничтожили, *но оно было,* об этом мне говорили те, кто его видел. Оно было ужасным. Оно было полно обвинений и упреков. Это было не просто личное письмо; это было письмо отчасти политическое. И, прочитав его, отец мог думать, что мама только для видимости была рядом с ним, а на самом деле шла где-то рядом с оппозицией тех лет.

Он был потрясен этим и разгневан и, когда пришел прощаться на гражданскую панихиду, то, подойдя на минуту к гробу, вдруг оттолкнул его от себя руками, и, повернувшись, ушел прочь. И на похороны он не пошел.

Хоронили маму друзья, близкие, шагал за гробом ее крестный — дядя Авель Енукидзе. Отец был выведен из равновесия надолго. Он ни разу не посетил ее могилу на Новодевичьем. Он не мог. Он считал, что мама ушла как его личный недруг.

И только в последние годы, незадолго до смерти, он вдруг стал говорить часто со мной об этом, совершенно сводя меня этим с ума... Я видела, что он ищет, мучительно ищет «причину», и не находит ее. То он вдруг ополчался на «поганую книжонку», которую мама прочла незадолго до смерти — это была модная тогда «Зеленая шляпа» [1]. Ему казалось, что эта книга сильно на нее повлияла... То он начинал ругать Полину Семеновну, Анну Сергеевну, Павлушу, привезшего ей этот пистолетик, почти-что игрушечный... Он искал вокруг — «кто виноват», кто ей «внушил эту мысль»; может быть, он хотел таким образом найти какого-то очень важного своего врага...

Но, если он не понимал ее тогда, то позже, через двадцать лет, он уже совсем перестал понимать ее и забыл, что она была такое... Хорошо хоть, что он стал теперь говорить о ней мягче; он как будто бы даже жалел ее и не упрекал за совершенное...

В те времена часто стрелялись. Покончили с троцкиз-

---

[1] *'The Green Hat,' by Michael Arlen.*

мом, начиналась коллективизация, партию раздирала борьба группировок, оппозиция. Один за другим кончали с собой многие крупные деятели партии. Совсем недавно застрелился Маяковский,— еще этого не забыли и не успели осмыслить... Я думаю, что все это не могло не отразиться в душе мамы,—человека очень впечатлительного, импульсивного. Все Аллилуевы были очень деликатными, нервными, трепетными натурами. Это натуры артистов, а не политиков. «В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань»... —сказал Пушкин. Дело в том, что мама жила и действовала всю жизнь по законам чувства. Логика ее характера была логикой поэтической. Не утверждал ли незадолго до своей смерти Маяковский: «И в пролет не брошусь, и не выпью яда, и курок не смогу у виска нажать...» И сказав так, — сделал сам именно это. Такие вещи никто заранее не планирует.

И при всей своей разумности,— мама была женщина умная, отец уважал ее, доверял ей безоговорочно и до ее смерти считал ее своим ближайшим и верным другом,— при всей своей организованности и сдержанности,— мама была человек горячего чувства.

В те времена люди были вообще необычайно эмоциональны и искренни — если для них жить так было невозможно, то они стрелялись... Кто делает так теперь? Кто так горячо теперь относится к жизни, к спорам, к убеждениям своим и противника, к возможности или невозможности того или иного дела?.

Дух холодного скепсиса одолел всех; скепсиса, равнодушия, безразличия ко всему самому дорогому и важному. Как-нибудь, выжить бы...

Тогда люди жили иначе. И мама была дитя своего времени. Наверное, если бы она не была так молода — этого бы не произошло. Но в тридцать один год пора холодной рассудительности для нее еще не наступила.

Я часто думаю, какая судьба ждала ее дальше, если бы она не умерла? Ничего хорошего ее не ждало. Рано или поздно она оказалась бы среди противников отца. Невозможно представить себе, чтобы она *молчала,* видя как гибнут лучшие старые друзья — Н. И. Бухарин, А. С. Енукидзе, Реденс, оба Сванидзе — она бы не пережила этого никогда.

Быть может судьба даровала ей смерть, спасшую ее от еще бóльших, ожидавших ее несчастий? Ведь она не смогла бы — «трепетная лань» — предотвратить все эти несчастья или остановить их...

11

Позавчера я написала тебе, друг мой, то, что было для меня труднее всего... И думать об этом каждый раз, а тем более писать, ужасно, мучительно. Чем дольше живу я на земле, чем старше становлюсь сама, тем труднее об этом думать.

На счастье мое, позавчера же, мои милые друзья Займовские утащили меня на Истринское водохранилище, где живут в деревне наши общие знакомые; зимой мы все вместе ходим на лыжах здесь, вокруг Жуковки. Как я им благодарна, они и не подозревали!...

За Истрой свернули в сторону, на Бужаровское шоссе. И обступила меня со всех сторон огромная, как небо, спокойная, вечная, равнодушная ко всему природа. Какие там чудесные места! Какая плавная, тихая, нежная, ни с чем несравнимая красота!

Море, конечно, прекрасно. И юг — роскошен и изобилен, и горы впечатляют сильнее, все это так. Но эти серые избы — уж сколько лет они такими были и все стоят — эти поля и луга, а на горизонте — лесочки, и небо над ними тоже не голубое, а сероватое. Ну что за магия такая во всем этом? И этот донник вдоль шоссе, желтые и белые заросли его, разотрешь в руке цветы, пахнет медом — ну что сравнится со сладким этим запахом, какие розы юга? А сама речка Истра, с темнозеленой спокойной водой, с заросшими круглыми ветлами извилистыми бережками,— и купаться-то в ней толком нельзя,— а можно только смотреть и смотреть и от всей этой тихой красы сжимается горло и так бы сладко поплакать, как будто давно не видела друга, и вот он пришел, и упадешь головой ему на грудь, и плачешь от радости...

А само истринское водохранилище — это уже природа могучая, величественная. Так рябит водная гладь и переливается на солнце. И всюду палатки, автомобили, молодые лица, загорелые тела, пестрые купальные костюмы, — всюду молодежь; кто на велосипеде, кто пешком с рюкзачком на спине, кто на машине, привязав на крышу лодку. Как хочется людям жить ясно и просто, как всем на земле хочется одного и того же — доброй, здоровой жизни...

А в деревне Алёхново проехали мы к самому последнему дому, за ним капустное поле. Дома́ в деревне чистенькие, хорошие. И поля в удивительном порядке, всё куда лучше, крепче и ладнее, чем в нашем Красногорском районе под боком у Москвы... В Алёхнове, оказывается, уже несколько лет председателем колхоза работает агроном Шмидт, присланный сюда из Москвы, когда проходила мобилизация в колхозы. Поехало тогда в деревню много никчемного народа, но попадались и настоящие люди. Этот Шмидт (здесь считают, что он еврей, но должно быть, он из обрусевших немцев — у нас не различают) поднял хозяйство колхоза, и вот вокруг сады, и пшеница, и овощи,— и люди живут неплохо — так, в сущности, мало надо: немного смекалки и организованности, образования и инициативы...

К вечеру, когда мы приехали, долго не темнело. Деревня лежит в полях, недалеко — водоем. Над ней — ровной и плоской — открытая ширь неба и долго, долго лился из этого простора свет, то розовый от заката, то лиловый, то синий, в сумерки. И тихо так, и все запахи трав полились со всех сторон, густые, пряные, сладкие... Потом выплыла круглая серебряная луна из-за леса, и все сильнее и сильнее запахло, и трава отсырела под ногами, и все гуще лиловел воздух. И звезды стали зажигаться над головой, одна за другой, и со всех сторон обступили так, что ни о чем уже нельзя и думать, кроме этих звезд. Улеглась я спать на раскладушке во дворике прямо под открытым небом, и все мигали мне звезды, и хотелось плакать от радости, что я живу и дышу этими сладкими травами, что вижу эти звезды...

Днем мы гуляли и купались в водохранилище, похожем на море, и любовались им с высокого обрыва; сзади золотело пшеничное поле, а над водным простором пышно клубились круглые, белые облака.

Потом надвинулась неизвестно откуда тучка, наливалась, чернела на глазах — все небо вдруг заволокло, только поле желтело под ней и продолжало светиться. И грохнул гром, и дождь полился сильный-сильный, и вдруг перешел в град,— но все это уже катилось вдаль над водной гладью, и другая половина неба вновь заголубела...

Потом из-за края уходящей тучи рванулись длинные-длинные золотые лучи и пронзили остатки облаков, быстро рассеивавшихся. Снова выплыло и засияло солнце, досыхали повсюду капли дождя, и так прекрасен был

свежий умытый мир, что можно задохнуться от восторга... И душили меня слезы весь тот день...

И все ушло, как будто не было ни тучи, ни дождя. Прошел час и снова жара, высохло все кругом, снова загорают на песочке туристы, и лодочки заскользили во все стороны по воде.

Ехали мы вечером домой — все отдохнувшие и посвежевшие за эти сутки. И все смотрела я вокруг с печалью и радостью, и думала — откуда это во мне такая любовь к России?

А мы — варвары, каких не сыщешь нигде. В Грузии, Узбекистане, на Украине каждый древний камешек, покрытый глазурью, каждую древнюю стену охраняют, как реликвию, как достояние свое, как драгоценность. А мы — «мы ленивы и нелюбопытны». Стоит на горе, недалеко от Алёхнова церковь, колоколенка возле нее — они чудом уцелели во время обстрелов последней войны — старые липы вокруг, как стража, а церковочка (куб с одной маковкой посредине) уже вся рушится и на крыше бузина выросла, и теперь в ней склад картошки и сена...

Нигде, ни в одной стране не растрачивают — просто от лени,— свое собственное достояние, свои же прекрасные старые сокровища. Нигде революция столько не разрушала полезного нам же самим, как в России; и сейчас, когда все время твердим о русских отечественных традициях, это только слова и слова...

Мама была, конечно,— несмотря на смешение кровей, — настоящей русской по своему воспитанию и характеру, по своей натуре. Отец полюбил Россию очень сильно и глубоко, на всю жизнь. Я не знаю ни одного грузина, который настолько бы забыл свои национальные черты, и настолько сильно полюбил бы все русское. Еще в Сибири отец полюбил Россию по-настоящему: и людей, и язык и природу. Он вспоминал всегда о годах ссылки, как будто это были сплошь рыбная ловля, охота, прогулки по тайге. У него навсегда сохранилась эта любовь.

Ну, а я — что говорить обо мне! Я так понимаю всех, кто вернулся в Россию после эмиграции из Франции, где жизнь была не такой уж неустроенной... Я понимаю и тех, кто не уехал к родственникам за границу, возвратясь из лагерей и тюрем — нет, не хотят, все-таки, уезжать из России!

Да что там говорить! Как ни жестока наша страна,

как ни трудна наша земля, как ни приходится всем нам падать, расшибаться в кровь, терпеть боль и обиды незаслуженные и неоправданные — никто из нас, привязанных сердцем к России, никогда не предаст ее и не бросит, и не убежит от нее в поисках комфорта,— комфорта без души. И как свет ее бледного неба, мягкий и грустный, светит нам всем ее мудрая и спокойная краса, которой все нипочем, которая все перетерпит, и сохранится вовеки.

И мне самой после стольких жесточайших потерь, после стольких горчайших разочарований и утрат после всей моей тридцатисемилетней никчемной, дурацкой, двойной, бесполезной и, увы, бесперспективной жизни — мне светишь ты, милая моя, душевная, прекрасная, бестолковая, мудрая, жестокая Россия, светишь ты мне и утешаешь и никто тебя не сумел еще очернить в моих глазах... И, если бы не светил мне вечный свет твоей правды и добра, давно бы уж я засунула свою голову в петлю — да так, чтобы не сорваться из нее... А ты все светишь и греешь, и все еще что-то обещаешь мне в этой жизни на прекрасной, любимой моей, зеленой и голубой земле... [1].

---

[1] Когда писались эти строки, 4 года тому назад, я действительно не представляла себе, что смогу уехать из России. Тогда все жили надеждой на возможность коренных преобразований в сторону настоящей демократии.

12

После маминой смерти (мне тогда было шесть лет) наступило для меня десятилетие, в котором отец мой был и старался быть по возможности хорошим отцом, хотя при его образе жизни это было очень трудно. Но в эти годы, несмотря на то, что вся прежняя жизнь в доме разрушилась, авторитет отца был для меня неукоснительным во всем. Потом, с окончанием школы и благодаря некоторым другим событиям, начиная с 1942-43 года, все очень переменилось. Переменились и наши отношения,— пришло разобщение, которое потом уже только все больше прогрессировало.

Наша детская беззаботная жизнь, полная игр, полезных развлечений, занятий и веселья развалилась вскоре после того, как не стало мамы.

Уже в следующий 1933 год, приехав в наше любимое Зубалово летом, я вдруг не нашла там нашей детской площадки в лесу,— с качелями, кольцами, «Робинзоновским домиком»,— все было как метлой сметено. Только площадка и следы песка на ней еще долго оставались среди леса. Потом все заросло...

Сразу же ушла от нас наша воспитательница Наталия Константиновна, чьи уроки немецкого языка, чтения, рисования я не забуду никогда. Сама ли она отказалась или ее выжили, не знаю, но весь ритм занятий был нарушен. Александр Иванович, «учитель» брата, оставался еще года два, но потом он надоел Василию тем, что заставлял его иногда готовить уроки, и вскоре исчез и он.

Отец сменил квартиру, он не мог оставаться там, где умерла мама. Он начал строить себе отдельную дачу в Кунцеве, куда и переехал жить на следующие двадцать лет. Мы же все — дети, близкие — продолжали ездить по воскресеньям, в каникулы и летом, в Зубалово. На новой квартире в Кремле отец бывал мало, он заходил лишь обедать. Квартира для жилья была очень неудобна. Она помещалась в бель-этаже здания Сената, построенного Казаковым, и была ранее просто длинным официальным коридором, в одну сторону от которого отходили комна-

ты — скучные, безликие, с толстыми полутораметровыми стенами и сводчатыми потолками.

Это бывшее учреждение переоборудовали под квартиру для отца только потому, что его кабинет — официальный кабинет председателя совета министров и первого секретаря ЦК — помещался в этом же здании на втором этаже, и оттуда ему было очень удобно спуститься вниз и попасть прямо «домой», обедать. А после обеда, продолжавшегося обычно часов с шести-семи вечера до одиннадцати-двенадцати ночи, он садился в машину и уезжал на Ближнюю дачу. А на следующий день, часам к двум-трем, приезжал опять к себе в кабинет в ЦК. Такой распорядок жизни он поддерживал до самой войны.

Нас, детей, он видел на квартире во время обеда; тут он и спрашивал об учебе, проверял мои отметки в дневнике, иногда просил показать тетради. Вплоть до самой войны, как это полагается делать всем родителям, он сам подписывал мой школьный дневник, а также дневник брата (пока тот не ушел в 1939 году в авиационную спецшколу). Всё же мы виделись тогда часто, почти каждый день.

Еще продолжались летние поездки в Сочи, куда брали и нас. Еще приходили повидать отца дедушка, бабушка, дядя Павлуша с женой, Реденсы, Сванидзе. Все вместе ездили к отцу на Ближнюю справлять чьи-то дни рождения или Новый год. Вместе отдыхали все в Сочи.

Но все катастрофически переменилось изнутри. В самом отце что-то сломалось. И изменился дом.

В доме постепенно, не сразу, но примерно к 1938-му году не осталось, кроме моей няни, никого из тех людей, которых нашла в свое время мама, которые любили ее, уважали, не забывали и старались насколько возможно следовать установленному ею порядку. Но с каждым годом они все куда-то постепенно исчезали. Однажды, вернувшись к сентябрю, к школьным занятиям, я не застала Елизавету Леонидовну, нашу старую повариху. Она была полная, суровая царственная женщина со старомодной прической,— настоящая императрица Екатерина Великая. Ее выжили. Потом выжили Таню, женщину поразительно некрасивую, похожую на гренадера, но очень славную и веселую, которая таскала тяжелые подносы с посудой.

И, наконец, ушла наша экономка, Каролина Васильевна. Это был уже 1937 год; сказалось и то, что она «из немок», и хотя она лет десять прослужила у нас и была

почти что членом семьи, ей тоже было указано на дверь. Сменился весь персонал и в Зубалове, а на даче у отца вообще были какие-то новые, неведомые мне люди.

А главное — сменилась вся система хозяйства в доме. Раньше мама сама набирала откуда-то людей, понравившихся ей своими человеческими качествами. Теперь же все в доме было поставлено на казенный государственный счет. Сразу же колоссально вырос сам штат обслуживающего персонала или «обслуги» (как его называли, в отличие от прежней, «буржуазной», прислуги). Появились на каждой даче коменданты, штат охраны (со своим особым начальником), два повара, чтобы сменяли один другого и работали ежедневно, двойной штат подавальщиц, уборщиц — тоже для смены. Все эти люди набирались специальным отделом кадров,— естественно, по условиям, какие ставил этот отдел,— и, попав в «обслугу», становились «сотрудниками» МГБ (тогда еще ГПУ).

С моей няней начальству было трудно — она выглядела белой вороной среди всего этого казенного люда. И ее тоже решили выжить.

В 1939-м году, когда косило всех направо и налево, досужий кадровик раскопал, что муж моей няни, с которым она рассталась в годы первой мировой войны, *до революции* служил писарем в полиции. Батюшки мои! Доложили отцу, что она «ненадежный» человек, что-де и сын ее общается Бог весть с кем. Отцу некогда было вникать, он считал, что вникать в эти дела досконально должны люди, специально этим занимающиеся, а ему должны показывать уже «готовый материал».

Я, услышав, что няню собираются выгонять, заревела. Отец не переносил слез,— и, может быть, шевельнулся в нем какой-то здравый протест против бессмыслицы,— он вдруг рассердился и потребовал, чтобы няню мою оставили в покое.

И была она членом нашей семьи в общем тридцать лет — с 1926 по 1956 год — до самой своей смерти на семьдесят первом году жизни. О ней я расскажу отдельно, ее биография заслуживает того.

Казенный «штат обслуги» разрастался вширь с невероятной интенсивностью. Это происходило совсем не только в одном нашем доме, но во всех домах членов правительства, во всяком случае, членов Политбюро. Правда нигде так не властвовал казенный, полу-военный дух, ни один дом не был в такой полной степени подведомствен ГПУ — НКВД — МГБ, как наш, потому что у нас

отсутствовала *хозяйка* дома, а у других присутствие ее несколько смягчало и сдерживало казенщину. Но, по существу, система была везде одинаковая: полная зависимость от казенных средств и государственных служащих, державших весь дом и его обитателей под надзором своего неусыпного ока.

Возникнув где-то в начале тридцатых годов, эта система все более укреплялась и расширялась в своих масштабах и правах, и лишь с уничтожением Берия, наконец, ЦК признал необходимым поставить МГБ на свое место: только тогда все стали жить иначе и вздохнули свободно — члены правительства точно так же, как и все простые люди.

Из нашего Зубалова были изгнаны славные девушки (подавальщицы) — рослая, здоровенная Клавдия и тоненькая Зина. Появились новые лица, в том числе и молоденькая курносая Валечка, рот которой целый день не закрывался от веселого, звонкого смеха. Проработав в Зубалове года три, она была переведена на дачу отца в Кунцево, и оставалась там до его смерти, став позже экономкой (или, как было принято говорить — «сестрой-хозяйкой»).

Дольше задержался в нашем доме Сергей Александрович Ефимов, бывший еще при маме комендантом Зубалова, также перешедший затем на Ближнюю, в Кунцево. Это был из всех «начальников» наиболее человечный и скромный по своим собственным запросам. Он всегда тепло относился к нам, детям, и к уцелевшим родственникам, словом в нем сохранились какие-то элементарные человеческие чувства к нам всем, как к семье,— чего нельзя было сказать о прочих высоких чинах охраны, имена которых мне даже не хочется теперь и вспоминать... У этих было одно лишь стремление — побольше хапануть себе, прижившись у теплого местечка. Все они понастроили себе дач, завели машины за казенный счет, жили не хуже министров и самих членов Политбюро,— и оплакивают теперь лишь свои утраченные материальные блага.

Сергей Александрович таковым не был, хотя по своему высокому положению тоже попользовался многим, но «в меру». До уровня министров не дошел, но член-корреспондент Академии Наук мог бы позавидовать его квартире и даче... Это было, конечно, очень скромно с его стороны. Достигнув генеральского звания (МГБ), Сергей Александрович последние годы лишился благораспо-

ложения отца и был отстранен, а затем съеден своим «коллективом», т. е. другими генералами и полковниками от МГБ, превратившимися в своеобразный двор при отце.

Приходится упомянуть и другого генерала, Николая Сергеевича Власика, удержавшегося возле отца очень долго, с 1919 года. Тогда он был красноармейцем, приставленным для охраны, и стал потом весьма властным лицом за кулисами. Он возглавлял всю охрану отца, считал себя чуть ли не ближайшим человеком к нему, и будучи сам невероятно малограмотным, грубым, глупым, но вельможным,— дошел в последние годы до того, что диктовал некоторым деятелям искусства «вкусы товарища Сталина»,— так как полагал, что он их хорошо знает и понимает. А деятели слушали и следовали этим советам. И ни один праздничный концерт в Большом театре или в Георгиевском зале на банкетах, не составлялся без санкции Власика... Наглости его не было предела, и он благосклонно передавал деятелям искусства — «понравилось» ли «самому» — будь то фильм, или опера, или даже силуэты строившихся тогда высотных зданий...

Не стоило бы упоминать его вовсе,— он многим испортил жизнь, но уж до того была колоритная фигура, что никак мимо него не пройдешь. В доме у нас для «обслуги» Власик равнялся почти что самому отцу, так как отец был высоко и далеко, а Власик данной ему властью мог все, что угодно...

При жизни мамы он существовал где-то на заднем плане в качестве телохранителя, и в доме, конечно, ни ноги его, ни духа не было. На даче же у отца, в Кунцево, он находился постоянно и «руководил» оттуда всеми остальными резиденциями отца, которых с годами становилось все больше и больше...

Только под Москвой, не считая Зубалова, где тихо сидели по углам родственники, и самого Кунцева, были еще: Липки,— старинная усадьба по Дмитровскому шоссе, с прудом, чудесным домом и огромным парком с вековыми липами; Семеновское — новый дом, построенный перед самой войной возле старой усадьбы с большими прудами, выкопанными еще крепостными, с обширным лесом. Теперь там «государственная дача», где происходили известные летние встречи правительства с деятелями искусства.

И в Липках и в Семеновском все устраивалось в том же порядке как и на даче отца в Кунцево — так же обставлялись комнаты (такой же точно мебелью), те же

самые кусты и цветы сажались возле дома. Власик авторитетно объяснял, что «сам» любит, и чего не любит. Отец бывал там очень редко,— иногда проходил год,— но весь штат ежедневно и еженощно ожидал его приезда и находился в полной боевой готовности... Ну, а уж если «выезжали» из Ближней и направлялись целым поездом автомашин к Липкам, там начиналось полное смятение всех — от постового у ворот, до повара, от подавальщицы до коменданта. Все ждали этого как страшного суда и, наверное, страшнее всех был для них Власик, грубый солдафон, любивший на всех орать и всех распекать...

Не меньшего интереса заслуживает — тоже как уникальный уродливый экспонат тех времен — новая экономка (то-бишь «сестра-хозяйка»), приставленная к нашей квартире в Кремле, лейтенант (а потом майор) госбезопасности Александра Николаевна Накашидзе. Появилась она в нашем доме в 1937-м или 38-м году с легкой руки Берия, которому она доводилась родственницей, двоюродной сестрой его жены. Правда, родственница она была незадачливая и жена Берия, Нина Теймуразовна, презирала «глупенькую Сашу». Но это решили без ее ведома,— вернее, без ведома их обеих. И в один прекрасный день на молоденькую, довольно миловидную Сашу обрушилось это счастье и честь... Вернувшись к сентябрю как обычно из Сочи, я вдруг увидела, что вместо Каролины Васильевны, меня встречает в передней молодая, несколько смущенная грузинка,— новая «сестра-хозяйка».

Она была не очень вредная (больше зла она делала по глупости, по своей обязанности, а не по собственному желанию); к тому же она была новое лицо в доме, где было ужасно скучно. Мы с ней подружились, и были в добрых отношениях вплоть до 1942-43 года, когда она вместе с Власиком оказала мне «медвежью услугу». Мне было тогда лишь одиннадцать-двенадцать лет, и всю чудовищность появления в доме прямого, непосредственного соглядатая Берия я еще не могла осознать.

Тетки мои — Анна Сергеевна и Женя (вдова дяди Павлуши) — уже тогда поняли, что это означает, и только спросили ее, хорошо ли она знает хозяйство, умеет ли готовить грузинскую кухню? — «Нет»,— простодушно призналась Александра Николаевна,— «я ничего не делала дома никогда, у меня мама всегда хозяйничала, а я чашку за собой никогда не вымыла...» «Так вам будет очень трудно здесь»,— начали было удивленные тетки,

но потом махнули рукой: они понимали, что от «опер-уполномоченной» требовались совсем иные навыки, чем приготовление пищи...

Кстати, вскоре их вообще перестали пускать в нашу квартиру в Кремле. Реденс был арестован, Женя была подозреваема в отравлении дяди Павлуши, умершего так внезапно. Вход в дом оставался открытым лишь для дедушки с бабушкой, и для Яши. Должно быть, Александра Николаевна «настучала» на теток своему могущественному родственнику и тот решил, что хватит — побаловались возле Сталина, а теперь надо их всех изолировать от него, и его — от них. А убедить отца, что они внушают сомнения и опасения, как «родственники репрессированных», не составляло большого труда для такого хитреца как Берия.

Александра Николаевна царствовала у нас в квартире до 1943 года,— как и почему ее выставил сам отец, я расскажу еще. В ее обязанности входило самое тесное общение со мной и Василием. Она была едва тридцати лет, смешлива, еще недолго подвизалась в качестве «оперуполномоченной» и не успела стать чиновницей. Грузинская женщина по своей натуре для этой роли совершенно не годится. Она была, в общем, добра, и ей было естественнее всего подружиться с нами в этом доме, где для нее самой было все страшно, чуждо и угрожающе, где ее пугали ее собственные функции и обязанности... Она была несчастной пешкой, попавшей в чудовищный механизм, где она уже не могла сделать ни одного движения по своей воле, и ей ничего не оставалось как, сообразно со своими слабыми способностями и малым умом, осуществлять то, что от нее требовали...

Она ходила со мной в театры — учебой моей занимались другие лица, но она как бы несла «общее руководство» моим воспитанием и проверяла меня, иногда заглядывая в тетрадки. Она плохо говорила по-русски, еще хуже писала и не ей было меня проверять, да она это и сама знала. Во всяком случае, она контролировала круг моих школьных подруг и вообще знакомых, но круг этот был тогда до того ограничен, до того узок, я жила в таком микроскопическом мирке, что это не составляло для нее большого труда...

Я уверена, что она потом благословляла тот день, когда ее убрали из нашего дома, где ей было жить несладко. Чтобы несколько компенсировать свою безотрадную и одинокую жизнь, она перевезла в Москву своих папу,

маму, сестру, двух братьев; все они получили здесь квартиры, молодежь обзавелась семьями. Такие возможности ей предоставила ее «работа». Я потом в квартирах ее сестры, брата, видела вдруг что-то из наших старых домашних вещей, выкинутых ею за «ненадобностью» из нашего дома...

У нас дома,— конечно, не в комнатах отца, где никому нельзя было ни к чему прикоснуться, а у меня и брата, — она стала «наводить порядок». С рвением истинной мещанки, она выкинула вон всю старую мебель, приобретенную еще мамой, под предлогом, что она «допотопная», что надо обставиться «современней». Вдруг однажды вернувшись осенью с юга, я не узнала своей комнаты. Где мой обожаемый старый резной буфет,— какая-то мамина давняя реликвия, перенесенная ею в мою детскую,— огромный пузатый буфет, где хранились в ящиках подарки, привезенные из Берлина мамой и тетей Марусей, бесчисленные дары от Анны Сергеевны? В верхних полках этого прекрасного универсального шкафа стояли покрашенные краской фигурки из глины, сделанные нами под руководством Наталии Константиновны, а внизу были сложены наши старые альбомы для рисования, тетради с рисунками и изложениями на русском и немецком языках... Моя няня считала нужным все это сохранять.

Александра Николаевна, мнившая себя культурным человеком (она училась два года в Индустриальном институте в Тбилиси, пока не попала на работу в МГБ) — сочла все это чепухой и выкинула вон вместе со шкафом, не подозревая, что выбрасывает дорогие воспоминания детства... Вон были выброшены и круглый стол со стульями, поставленные в моей детской еще мамой. Александра Николаевна заменила все это мебелью, действительно, более современной — но чужой, холодной, безликой, ничего не говорящей ни мне, ни другим...

Точно так же обошлась она и с комнатой брата, изъяв оттуда все, что напоминало нам старую нашу квартиру, удобную, уютную, где каждый уголок был обдуман мамой и приспособлен ею для наших нужд.

Моя няня терпела все это молча — она понимала, что возражать нельзя, да и бесполезно, а лучше всего терпеть, ждать и, тем временем, лелеять бедное дитя. Так же безропотно, негодуя про себя, она позволила выкинуть мои старые вещички,— а что было еще годным, то отправила в деревню своей внучке Кате, которая была чуть младше меня.

Постепенно исчезали, неведомо куда, и мамины вещи, постоянно стоявшие до тех пор у меня на туалетном столике: красивая коробка из эмали с драконами, ее чашки, стаканчик,— у мамы не так уж много было безделушек. Все это куда-то исчезало, а мы уже знали, что по «новым» нашим порядкам, когда все вещи в доме считаются казенными, раз в год проводится инвентаризация, и все ветхое «списывается» и увозится, неведомо куда.

Отец, существуя далеко и высоко, время от времени давал руководящие указания Власику, который был нашим неофициальным опекуном, как нас воспитывать. Это были самые общие указания: чтобы мы учились исправно, чтобы нас кормили, поили, одевали и обували за казенный счет — не роскошно, но добротно и без выкрутас,— чтобы нас не баловали, держали больше на свежем воздухе (в Зубалово), возили бы летом на юг (в Сочи, или в Мухолатку в Крыму). Это неукоснительно соблюдалось, опять же в самых общих чертах, а уж какие результаты должно было дать все это — зависело исключительно от Бога и от нас самих.

В связи с такими общими установлениями о нашем образовании, возле меня неожиданно появилась, когда я поступила в школу, гувернантка Лидия Георгиевна. Я была неприятно поражена, прежде всего, ее внешностью: она была маленького роста, крашенная в рыжий цвет, и горбатая. С первого же дня она вступила в постоянный конфликт с моей няней. Не знаю, что у них там вышло, но я увидела, что няня, обидевшись, уходит из комнаты, а Лидия Георгиевна истерически кричит ей вслед: — «Товарищ Бычкова! Не забывайтесь! Вы не имеете права со мной так разговаривать!». Я посмотрела на нее и спокойно сказала: «А вы — дура! Не обижайте мою няню!».

С ней сделалась истерика. Она рыдала и смеялась,— я никогда не видела подобных вещей,— ругала меня, «невоспитанную девчонку», и мою «некультурную» няньку.

Дело улеглось, но мы с ней навеки стали врагами. Она учила меня немецкому языку и «помогала» делать школьные уроки. По сравнению с живыми, интересными уроками Наталии Константиновны это было убожество, скука, зубрежка. Немецкий я, с ее помощью, возненавидела — так же как и музыку — фортепиано, пьесы и экзерсисы, гаммы и самые нотные знаки за то, что *она* мне их тупо вдалбливала...

Пять лет она меня «воспитывала», являясь каждый день, враждуя с моей невозмутимой нянькой, мучая меня истериками, бесталанными уроками и бездарной своей педагогикой. Мы ведь привыкли к прекрасным педагогам, которых нам находила мама...

Через пять лет я не выдержала и взмолилась, прося отца убрать ее из дома. Отец и сам не симпатизировал горбунье, которая к тому же безумно кокетничала с каждым мужчиной. Отца от одного этого передергивало, и он освободил меня от нее. Больше гувернанток не было. Появлялись эпизодически в доме преподавательницы английского языка, так как отец решил, что надо бросить все к черту и изучать английский. Милым, жизнерадостным человеком была Татьяна Дмитриевна Васильчикова,— толстуха с большой косой вокруг головы. Мы с ней подружились, ездили вместе в Сочи, и уроки ее были интересны, веселы и плодотворны.

У Василия, с уходом Александра Ивановича, дела с учебой пошли все хуже и хуже. Учителя из школы и директор ее одолевали отца письмами о дурном поведении и плохой успеваемости сына. Отец разъярялся, шумел, давал Василию нагоняй, ругал при этом всех — Власика, теток, весь дом,— но дело от этого не улучшалось. В конце концов, брат перешел в артиллерийскую спецшколу, а затем — в авиационное училище в Каче, в Крыму. Он уехал туда в 1939 и я осталась дома одна, с няней.

Еще несколько слов о других своеобразных персонажах из нашей жизни тех лет — о моих «дядьках».

С 1937-го года — не знаю, отцом ли, Власиком ли или решением МГБ — был введен такой порядок: за мной по пятам в школу, из школы, и куда бы я ни пошла, на дачу, в театры, следовал (не рядом, а чуть поодаль) взрослый человек, чекист. Ему надлежало меня «охранять». От кого? От чего?

Сначала эту роль выполнял желчный тощий Иван Иванович Кривенко. Заметив, что он роется в моем школьном портфеле и читает мой дневник, который я носила показывать подругам,— я его возненавидела. Вскоре он был заменен толстым, важным Александром Сергеевичем Волковым, который постепенно терроризировал всю школу, где я училась [1]. Он завел там свои порядки. Я должна была надевать пальто не в общей раздевалке, а в специальном закутке, возле канцелярии, куда

[1] Так называемая «25-я образцовая школа» в Старопименовском переулке (на улице Горького). Я туда ходила с 1933 по 1943 г.

я отправлялась, краснея от стыда и злости. Завтрак на большой перемене в общей столовой он тоже отменил и меня стали уводить куда-то в специально отгороженный угол, куда он приносил *из дома* мой бутерброд. Я терпела это все некоторое время, но наконец взбунтовалась. Потом появился тихий, добрый человек, Михаил Никитич Климов, с которым мы даже как-то подружились, несмотря на всю неприглядность его роли... Он «топал» за мной с 1940-го года по 1944, когда этот институт был упразднен. Я была уже на первом курсе университета, и умоляла отца «отменить» этот порядок, сказав, что мне стыдно ходить в университет с этим «хвостом». Отец, очевидно, понял абсурдность ситуации и сказал только: «Ну, черт с тобой, пускай тебя убьют,— я не отвечаю». (Он только что вернулся с тегеранской конференции в декабре 1943 года и был в очень хорошем расположении духа). Так, лишь в семнадцать с половиной лет я получила право ходить одна в университет, в театр, в кино, и просто по улицам...

Но с Михаилом Никитичем мы расстались не врагами. Ему нравилось то, что мы часто ходили в театры. Драму он очень любил, оперу — меньше, а больше всего изнемогал от консерватории, к которой я тогда пристрастилась. «Куда идем сегодня, Светочка?» — спрашивал он. И, узнав, что на концерт, хватался за голову: «О-о, опять на пилку дров! Ой, ну что там интересного?». Однако ему приходилось итти по долгу службы и он мирно засыпал, если музыка была не слишком бурной или не «пиликали скрипки». Он и сейчас звонит мне иногда, как и Сергей Александрович Ефимов и Валечка,— и спрашивает, как я живу, как детки и «докладывает» о всех своих семейных новостях. Он был беззлобен, не вредничал и по своему жалел меня, так как видел всю эту мою несуразную жизнь. Он был маленький исполнитель своих функций, как и Александра Николаевна, и не делал людям «от себя» сознательного вреда. Вредной была вся эта чудовищная система, весь этот страшный механизм. Еще, наверное, молодость спасала меня. Я ведь только теперь осознаю, чтó это было такое, а тогда это было ясно только для взрослых, умудренных, бывалых людей. Умные люди и *тогда* понимали в чем дело, а не «прозрели» после XX Съезда, как это теперь некоторые утверждают.

Вот в какой обстановке существовал наш дом — если его можно было теперь так называть — вплоть до самой

войны. Дедушка с бабушкой жили еще в Зубалове и все мы ездили туда летом. Еще собирались все вместе у отца на даче, ездили в Сочи, смотрели там новые, только что построенные, дачи. Для отца архитектор Мирон Иванович Мержанов построил чудесные три дома: один в Сочи, недалеко от Мацесты на месте, выбранном отцом еще вместе с мамой; другой — не доезжая Гагры, около Холодной Речки; третий за Адлером, возле речки Мюссéра.

На квартиру к нам в Кремль еще заходили оба Сванидзе, дядя Павлуша, и Реденсы. Но без мамы все это уже было не то. Все распалось — и дом, и отношения взаимной заинтересованности и дружбы.

Я помню очень хорошо, как последний раз приходил дядя Алеша Сванидзе — грустный, подавленный. Он должно быть, уже чувствовал, что происходит; уже шли аресты в Грузии, откуда и начал Берия... Дядя Алеша долго сидел в моей комнате, ожидая отца — играл со мной, целовал, качал на коленях. Потом пришел отец. Он очень редко приходил один,— обычно с ним приходили все, кто был у него днем в его рабочем кабинете, чтобы продолжить за столом деловые разговоры. Вряд ли дяде Алеше было удобно разговаривать с ним при всех.

Отец как бы демонстративно отрешился от всех семейных дел, от семьи, от родных и близких ему людей.

Смерть мамы страшно ударила его, опустошила, унесла у него веру в людей и в друзей. Он всегда считал маму своим ближайшим и верным другом,— смерть ее он расценил как предательство, как удар ему в спину. И он ожесточился. Должно быть, общение с близкими было для него каждый раз тяжким напоминанием о ней. И он стал избегать этого общения.

Именно в эту полосу духовного опустошения и ожесточения так ловко подъехал к нему Берия, до того лишь изредка появлявшийся в Сочи, когда отец отдыхал там. Теперь он завладел доверием отца и очень скоро пролез, с его поддержкой, в первые секретари ЦК Грузии. Старая закавказская большевичка О. Г. Шатуновская рассказывала мне, как потрясены были все партийцы Грузии этим назначением, как упорно возражал против этого Орджоникидзе,— но отец настоял на своем.

Из первых секретарей ЦК Грузии до Москвы путь уже был недолог. В 1938 году Берия воцарился в Москве и стал ежедневно бывать у отца, и его влияние на отца не прекращалось до самой смерти. Я говорю не случайно о *его* влиянии на отца, а не наоборот. Я считаю, что Бе-

рия был хитрее, вероломнее, коварнее, наглее, целеустремленнее, тверже,— следовательно сильнее, чем отец. У отца были слабые струны,— он мог сомневаться, он был доверчивее, грубее, резче; он был проще, его можно было провести такому хитрецу, как Берия. Этот знал слабые струны отца — уязвленное самолюбие, опустошенность, душевное одиночество, и он лил масло в огонь, и раздувал его сколько мог, и тут же льстил с чисто восточным бесстыдством. Льстил, славословил так, что старые друзья морщились от стыда,— они привыкли видеть в отце равного товарища...

Страшную роль сыграл Берия в жизни всей нашей семьи. Как боялась его и как ненавидела его мама! Все друзья ее — оба Сванидзе, сестра Сванидзе Марико (работавшая секретаршей у Авеля Енукидзе), сам Енукидзе пали первыми, как только Берия смог убедить отца в том, что это его личные недруги и недоброжелатели...

Я уже говорила, что во многом отец и Берия повинны вместе. Я не стану перекладывать вину с одного на другого. Они стали, к сожалению, духовно неразрывны. Но влияние этого ужасающего, злобного демона на отца было слишком сильным и неизменно эффективным...

Шатуновская говорила мне, что роль Берия во время гражданской войны на Кавказе была двусмысленной... Он был прирожденный провокатор и, как разведчик, обслуживал то дашнаков, то красных,— по мере того как власть переходила то к одним, то к другим. Шатуновская утверждает, что однажды нашими военными Берия был арестован,— он попался на предательстве и сидел, ожидая кары,— и что была телеграмма от С. М. Кирова (командовавшего тогда операциями в Закавказье) с требованием расстрелять предателя. Этого не успели сделать, так как последовали опять военные действия и всем было не до этого маленького человечка. Но об этой телеграмме, о том, что она была, знали все закавказские старые большевики; знал о ней и сам Берия... Не здесь ли источник злодейского убийства Кирова много лет спустя? Ведь сразу после убийства Кирова в 1934 году Берия выдвигается и начинает свое движение наверх... Как странно совпадают эти два события — гибель одного и выдвижение другого. Наверное, Киров не допустил бы, чтобы этот человек стал членом ЦК...

Сергей Миронович Киров был большим другом нашей семьи давно, наверное, еще с Кавказа. Знал он отлично и семью дедушки, а маму мою очень любил. У меня одна

фотография: Киров и Енукидзе у гроба мамы,— такая скорбь на суровых лицах этих двух сильных, не склонных к сентиментальности, людей...

После маминой смерти Киров с отцом ездили отдыхать летом в Сочи, и брали меня с собой. Осталась куча домашних, безыскуственных фотографий тех времен. Снимал очень недурно Н. С. Власик, сопровождавший всегда отца во все поездки. Вот они передо мной: на неизменном пикнике в лесу; на катере, на котором катались вдоль побережья; Киров в сорочке, в чувяках, по домашнему, отец в полотняном летнем костюме. Я сама помню эти поездки — какие-то еще люди приезжали, быть может, бывал тогда и Берия. Я не помню. Но Киров *жил* у нас в доме, он был свой, друг, старый товарищ. Отец любил его, он был к нему привязан.

И лето 1934 года прошло так же — Киров был с нами в Сочи. А в декабре последовал выстрел Николаева... Не лучше ли, и не логичнее ли связать этот выстрел с именем Берия, а не с именем моего отца, как это теперь делают?

В причастность отца к *этой* гибели я не поверю никогда. Киров был ближе к отцу, чем все Сванидзе, чем все родичи, Реденс, или многие товарищи по работе,— Киров был ему близок, он был ему нужен.

Я помню, какой ужасной была весть о гибели Сергея Мироновича, как были потрясены все у нас в доме... Его все знали и любили.

Был еще один старый друг нашего дома, которого мы потеряли в 1936 году,— я думаю, не без интриг и подлостей Берия. Я говорю о Георгии Константиновиче («Серго») Орджоникидзе.

Это был ближайший друг семьи, живший подолгу у нас в Зубалове. Зина Орджоникидзе была близкая мамина подруга. Серго был человек шумный, громкий, горячий — настоящий грузин. Когда он входил в комнату, начинали сотрясаться стены от его громкого голоса и раскатистого смеха...

Берия он хорошо знал по Закавказью и терпеть его не мог. Он был сильным препятствием на пути Берия к власти,— прежде всего в Грузии. С выдвижением Берия наверх, очевидно, положение самого Серго стало очень трудным — на него клеветали, желая разъединить его с отцом. Он не выдержал и застрелился в феврале 1936 года,— быть может, он вспомнил в последнюю минуту мою маму?

Его смерть долго объясняли «вредительством врачей».

Вскоре умер Горький — и те же врачи, что лечили обоих (у Орджоникидзе были больные почки) — Плетнев, Левин — были посажены в тюрьму...

Весной 1935 года Орджоникидзе ездил отдыхать в Крым, в Мухолатку, и взял меня с собой. Я помню как он все время играл со мной и хотел, чтобы я была рядом. Но моя горбунья, Лидия Георгиевна, уволакивала меня куда-нибудь в парк. Орджоникидзе ее терпеть не мог и все удивлялся — откуда мне такую откопали?...

За «взрослым» столом в Мухолатке тогда собирались: Орджоникидзе, Эйхе, Ежов, постоянный врач Орджоникидзе доктор Израэлит; приезжал и профессор Плетнев. Всем досталась страшная судьба: Эйхе попал в тюрьму, врачи — тоже; они все погибли. Ежов сначала сажал других, потом посадили и его. Серго застрелился... Это были годы, когда спокойно не проходило месяца — все сотрясалось, переворачивалось, люди исчезали, как тени. Об этом хорошо писал И. Г. Эренбург. Я не буду повторять,— я ведь этого тогда не осознавала...

Для меня,— девочки-школьницы,— эти годы воспринимались иначе: это были годы неуклонного искоренения и уничтожения всего, созданного мамой, какого-то настойчивого истребления самого ее духа, чтобы ничто не следовало установленным ею порядкам, чтобы все было наоборот... Это я видела, это я понимала, это было очевидно. Об этом я пишу, политические анализы пусть дают другие. И даже гибель таких близких друзей мамы, какими были Бухарин, Киров, Орджоникидзе, близкими и домашними воспринималась тогда, как истребление всего, что было связано с ней.

Что же сделала моя мама? Развязала ли она своей смертью руки отцу,— или, может быть, сама разрушила его дух настолько, что толкнула его к неверию в своих старых друзей? Будь она жива — остановила ли бы она этот ужасный процесс? Не думаю, вряд ли. Но, во всяком случае, она бы не предавала старых друзей; ее бы не смогло ничто убедить, что ее крестный отец Авель Енукидзе — «враг народа». И не был бы ее путь тогда вместе с ними? И как смогла бы она бороться с ненавистным Берия?

К чему гадать. Судьба спасла ее от таких тяжелых испытаний, которых бы ее душа не вынесла. Быть может, Бог уберег ее от всего этого ужаса. И даже если бы она нашла в себе силы оставить отца,— которого она любила,— ее судьба была бы еще страшнее; тогда бы ей досталась еще и его месть.

13

В эти годы — с 1933-го вплоть до самой войны, я жила школой. Это был мой маленький мир — школа, уроки, пионерские обязанности, книги и моя комната — крошечный мирок, где обогревала меня, как уютная русская печь, моя няня. Школа моя была прекрасной — она на всю жизнь дала знания, навыки, друзей; многих учителей невозможно забыть: Гурвица, Яснопольскую, Зворыкина, Новикова... Книг я читала много,— в комнатах отца находилась огромная библиотека, которую начала собирать мама; никто ею не пользовался, кроме меня. А няня моя, с ее веселым нравом, с ее добротой, мягкостью, юмором, создала вокруг меня нечто вроде «воздушной подушки» из своей неподдельной любви, и это защищало меня от внешнего мира и от понимания того, что происходило вокруг. Я жила вплоть до университета под колпаком, как бы за крепостной стеной, и в особой атмосфере, созданной няней в наших с ней двух комнатах, где я занималась за своим столом, а она шила или читала за своим. У нас было тихо, и обе мы не знали, как вокруг всё разламывалось на куски.

Няня сохранила, как могла, вокруг меня то, что заведено было мамой — обстановку учебы, занятий, здорового отдыха на природе. Она сохранила мне детство — я так ей благодарна теперь, я так ее вспоминаю!

До начала войны в Европе отец бывал дома почти каждый день, приходил обедать, обычно со своими товарищами; летом мы ездили в Сочи вместе. Тогда мы виделись часто и, собственно говоря, именно эти годы оставили мне память о его любви ко мне, о его старании быть отцом, воспитателем... С войной все это рухнуло и когда я стала старше,— возникли трения и разногласия. А в те годы я нежно любила отца, и он меня. Как он сам утверждал, я была очень похожа на его мать, и это его трогало.

Няня моя воспитывала во мне беспрекословное послушание и любовь к отцу,— это было для нее незыблемой христианской заповедью, что бы там ни происходило вокруг...

Отец приходил обедать и, проходя мимо моей комна-

ты по коридору, еще в пальто, обычно громко звал: «Хозяйка!». Я бросала уроки и неслась к нему в столовую — большую комнату, где все стены были заставлены книжными шкафами, и стоял огромный резной старинный буфет с мамиными чашками, а над столиком со свежими журналами и газетами висел ее большой портрет (увеличенная домашняя фотография). Стол обычно был накрыт приборов на восемь, и я садилась за свой прибор справа от отца. Это бывало часов в семь вечера. Как правило я сидела часа два, и просто слушала о чем говорят взрослые. Потом отец спрашивал меня про мои отметки. И, так как отметки у меня тогда были отличные, то он очень этим гордился; меня все хором хвалили и отправляли спать.

Уходя поздно ночью (он всегда уезжал ночевать к себе на дачу в Кунцево), отец, уже одетый в пальто, заходил иногда еще раз ко мне в комнату и целовал меня спящую, на прощание. Пока я была девчонкой, он любил целовать меня, и я не забуду этой ласки никогда. Это была чисто грузинская, горячая нежность к детям...

В те годы отец стал брать меня с собой в театр и в кино. Ходили больше всего в МХАТ, в Малый театр, в Большой, в театр Вахтангова. Тогда я видела «Горячее сердце», «Егора Булычова», «Любовь Яровую», «Платона Кречета»; слушала «Бориса Годунова», «Садко», «Сусанина». До войны отец ходил в театры часто; шли обычно всей компанией и в ложе меня сажали в первый ряд кресел, а сам отец сидел где-нибудь в дальнем углу.

Но чудеснее всего было кино. Кинозал был устроен в Кремле, в помещении бывшего зимнего сада, соединенного переходами со старым кремлевским дворцом. Отправлялись туда после обеда, т. е. часов в девять вечера. Это конечно, было поздно для меня, но я так умоляла, что отец не мог отказывать и со смехом говорил, выталкивая меня вперед: «Ну, веди нас, веди, хозяйка, а то мы собьемся с дороги без руководителя!». И я шествовала впереди длинной процессии, в другой конец безлюдного Кремля, а позади ползли гуськом тяжелые бронированные машины и шагала бесчисленная охрана...

Кино заканчивалось поздно, часа в два ночи: смотрели по две картины, или даже больше. Меня отсылали домой спать,— мне надо было в семь часов утра вставать и итти в школу.

Гувернантка моя, Лидия Георгиевна, возмущалась и требовала от меня отказываться, когда приглашали в

кино так поздно, но разве можно было отказаться? Сколько чудных фильмов начинали свое шествие по экранам именно с этого маленького экрана в Кремле! «Чапаев», «Трилогия о Максиме», фильмы о Петре I, «Цирк» и «Волга-Волга»,— все лучшие ленты советского кинематографа делали свой первый шаг в этом кремлевском зале.

Фильмы «представлял» правительству сначала З. Шумяцкий, потом, недолго, Дукельский, потом — долгие годы И. Г. Большаков. В те времена — до войны — еще не было принято критиковать фильмы и заставлять их переделывать. Обычно смотрели, одобряли, и фильм шел в прокат. Даже если что-то и не совсем было по вкусу, то это не грозило судьбе фильма и его создателя. «Разнос» чуть ли не каждого нового фильма стал обычным делом лишь после войны. Я уходила из кино поздно, быстро бежала домой по пустынному, тихому Кремлю, и назавтра шла в школу, а голова была полна героями кино. Отец считал, что мне полезнее посмотреть фильм, чем сидеть дома. Вернее всего, он даже и не думал, что мне полезно,— просто ему было приятно, чтобы я шла с ним вместе: я его развлекала, отвлекала и потешала.

Иногда летом он забирал меня к себе в Кунцево дня на три, после окончания занятий в школе. Ему хотелось, чтобы я побыла рядом. Но из этого ничего не получалось, так как приноровиться к его быту было невозможно: он завтракал часа в два дня, обедал часов в восемь вечера, и поздно засиживался за столом ночью,— это было для меня непосильно, непривычно. Хорошо было только гулять вместе по лесу, по саду; он спрашивал у меня названия лесных цветов и трав,— я знала все эти премудрости от няни,— спрашивал, какая птица поет... Потом он усаживался где-нибудь в тени читать свои бумаги и газеты, и я ему уже была не нужна; я томилась, скучала и мечтала поскорее уехать к нам в Зубалово, где была масса привычных развлечений, куда можно было пригласить подруг. Отец чувствовал, что я скучаю возле него и обижался, а однажды рассорился со мной надолго, когда я спросила: «А можно мне теперь уехать?» — «Езжай!» — ответил он резко, а потом не разговаривал со мной долго и не звонил. И только когда по мудрому наущению няни, я «попросила прощения» — помирился со мной. «Уехала! Оставила меня, старика! Скучно ей!» — ворчал он обиженно, но уже целовал и простил, так как без меня ему было еще скучнее.

Иногда он вдруг приезжал к нам в Зубалово — опус-

тевшее, изменившееся, но для всех бесконечно дорогое. Тогда шли все в лес, выползали из своих комнат дедушка с бабушкой; иногда звонили в Зубалово-2, и оттуда быстренько приходили дядя Павлуша с детьми, или А. И. Микоян. В лесу, на костре жарился шашлык, накрывался тут же стол, всех поили хорошим, легким грузинским вином. Меня отец при этом посылал сбегать на птичник за фазаньими и цесарочьими яйцами,— их легко можно было найти в ямках под кустами,— их запекали в горячей золе на костре. Мы, дети, обычно веселились на этих пикниках; не знаю, было ли весело взрослым... Бабушка, однажды, громко плакала, и отец уехал злой и раздраженный. У взрослых было слишком много поводов для взаимного недовольства и обид... Дедушка всегда стремился всех примирить и все уладить, бабушка же, наоборот, любила во всем разобраться,— и они долго потом корили друг друга, когда отец уезжал...

Зубалово менялось на глазах... Перекрасили дом, выкопали и унесли куда-то огромные старые сирени, которые цвели возле террасы как два огромных благоухающих стога. Потом зачем-то вырубили старые заросли черемухи,— якобы по соседству с огородом она была вредным распространителем насекомых. Потом залили противным серым асфальтом чудесные песчаные утрамбованные дорожки... Это все делалось управляющими, или как они у нас назывались — комендантами, которые — каждый с особым рвением,— изо всех сил копировали все то, что делалось у отца в Кунцево. Вдруг там начинали сажать елки,— поднималась суматоха и в Зубалове, и, смотришь, везде понатыкано елок... Но здесь было сухо, почва песчаная, вскоре елки все посохли. Вот мы радовались-то!

Казенная «обслуга» смотрела на нас, как на пустое место. Обычно это были люди часто менявшиеся,— ни мы к ним, ни они к нам не успевали привыкнуть, и, чувствуя, что «хозяин» живет в отдалении от родни, и, по-видимому, не очень родню свою жалует, «обслуга» любезностью не отличалась.

Бабушка иногда устраивала по этому поводу небольшие скандальчики,— ее менее всех любили за это. Потом дедушка ругал ее и втолковывал, что она «не понимает ситуации».— «Да!» — восклицала бабушка,— «ситуацию я никогда не научусь понимать!» — и уходила в свою комнату, ворча на нерадивых «бездельников».

Однажды, продолжая какой-то спор с дедушкой, она громко вскричала, адресуясь ко мне: «Мать твоя дура была, дура! Сколько раз я ей говорила, что она дура,— не слушала меня! Вот и поплатилась!» Я заревела и, крикнув «сама ты дура!» — побежала к няне искать защиты. Маму я помнила, любила самую память о ней, считала до шестнадцати лет, что она умерла от аппендицита (как меня уверяли взрослые), и не переносила никаких дурных слов о ней...

Без мамы в Зубалове появилось что-то, чего никогда не было при ней — склоки между родственниками... Дядя Федя, тоже иногда живший здесь, враждовал с моим старшим братом Яшей, поселившимся со своей женой в Зубалове. Яша ссорился с Василием. Единокровные братья были до того разными людьми, что не могли найти общий язык ни в чем... Яшина жена враждовала с бабушкой и дедушкой, которые сами грызлись между собой. Приходила жена (овдовевшая в 1938 году) дяди Павлуши, и своим острым языком подливала масла в огонь... Мы, дети, вертелись между ними всеми, принимали сторону то одних, то других, не зная, в чем дело. Няня моя, миротворица, умудрялась сохранить прекрасные отношения со всеми, поэтому на нее возлагались дипломатические миссии по урегулированию отношений...

Враждующие группировки искали защиты у отца. Для этого высылали меня:— «Поди, скажи папе...». Я шла, и получала от отца нагоняй: — «Что ты повторяешь все, что тебе скажут, как пустой барабан!» — сердился он и требовал, чтобы я не смела обращаться к нему с просьбами за других... Требовал он также, чтобы я не носила к нему ничьих писем,— мне иногда давали их в школе,— и не служила «почтовым ящиком»...

Нет, это было не прежнее Зубалово... Дух его и вся обстановка были совсем иными.

Летом отец уезжал в Сочи, а меня отправляли с няней или в Крым, в Мухолатку, или тоже брали в Сочи. Осталось у меня много писем отца из Сочи или в Сочи, или в Крым. Вот несколько выдержек из его писем тех лет:

«Здравствуй, моя воробушка!

Не обижайся на меня, что не сразу ответил. Я был очень занят. Я жив, здоров, чувствую себя хорошо.

Целую мою воробушку крепко-накрепко»...

«Милая Сетанка!

Получил твое письмо от 25/IX. Спасибо тебе, что папочку не забываешь. Я живу неплохо, здоров, но скучаю

без тебя. Гранаты и персики получила? Пришлю еще, если прикажешь. Скажи Васе, чтобы он тоже писал мне письма. Ну, до свидания. Целую крепко. Твой папочка»...

«За письмо спасибо, моя Сетаночка.

Посылаю персики, пятьдесят штук тебе, пятьдесят — Васе. Если еще нужно тебе персиков и других фруктов, напиши, пришлю. Целую».

(8 сентября 1934 г.)

«Хозяюшка! Получил твое письмо и открытку. Это хорошо, что папку не забываешь. Посылаю тебе немножко гранатовых яблок. Через несколько дней пошлю мандарины. Ешь, веселись... Васе ничего не посылаю, так как он стал плохо учиться. Погода здесь хорошая. Скучновато только, так как хозяйки нет со мной. Ну, всего хорошего, моя хозяюшка. Целую тебя крепко»...

(8 октября 1935 г.)

«Сетанка и Вася!

Посылаю вам сласти, присланные на днях мамой из Тифлиса, вашей бабушкой. Делите их пополам, да без драчки. Угощайте кого вздумаете»...

(18 апреля 1935 г.).

«Здравствуй, хозяюшка!

Посылаю тебе гранаты, мандарины и засахаренные фрукты. Ешь — веселись, моя хозяюшка! Васе ничего не посылаю, так как он все еще плохо учится и кормит меня обещаниями. Объясни ему, что я не верю в словесные обещания, и поверю Васе только тогда, когда он на деле начнет учиться хотя бы на «хорошо». Докладываю тебе, товарищ хозяйка, что был я в Тифлисе на один день, побывал у мамы и передал ей от тебя и Васи поклон. Она более или менее здорова и крепко целует вас обоих. Ну, пока все. Целую. Скоро увидимся».

(18 октября 1935 г.)

«Здравствуй, моя хозяюшка!

Письмо получил. Спасибо! Я здоров, живу хорошо, Вася хворал ангиной, но теперь здоров. Поеду ли на юг? Я бы поехал, но без твоего приказа не смею трогаться с места. Бываю часто в Липках. Здесь жарко. Как у тебя в Крыму? Целую мою воробушку»...

«Здравствуй, моя воробушка!

Письмо получил, за рыбу спасибо. Только прошу тебя, хозяюшка, больше не посылать мне рыбы. Если тебе так нравится в Крыму, можешь остаться в Мухолатке все

лето. Целую тебя крепко. Твой папочка».

(7 июля 1938 г.).

«Моей хозяйке — Сетанке — привет!

Все твои письма получил. Спасибо за письма! Не отвечал на письма потому, что был очень занят. Как проводишь время, как твой английский, хорошо ли себя чувствуешь? Я здоров и весел, как всегда. Скучновато без тебя, но что поделаешь, — терплю. Целую мою хозяюшку».

(22 июля 1939 г.).

«Здравствуй, моя воробушка!

Оба твои письма получил. Хорошо, что не забываешь папочку. Сразу ответить не мог: занят.

Ты, оказывается, побывала на Рице и при этом не одна, а с кавалером. Что же, это не дурно. Рица — место хорошее, особенно, ежели с кавалером, моя воробушка...

Когда думаешь вернуться в Москву? Не пора ли? Думаю, что пора. Приезжай в Москву к числу 25 августа, или даже к 20-му. Как ты об этом думаешь — напиши-ка. Я не собираюсь в этом году на юг. Занят, не смогу отлучиться. Мое здоровье? Я здоров, весел. Скучаю чуточку без тебя, но ты, ведь, скоро приедешь.

Целую тебя, моя воробушка, крепко-накрепко».

(8 августа 1939 г.).

Отец подписывался во всех письмах ко мне одинаково: «Секретаришка Сетанки-хозяйки бедняк И. Сталин». Надо объяснить, что это была игра, выдуманная отцом. Он именовал меня «хозяйкой», а себя самого и всех своих товарищей, бывавших у нас дома почти ежедневно — моими «секретарями», или «секретаришками». Не знаю, развлекала ли эта игра остальных, но отец развлекался ею вплоть до самой войны. В тон его юмору я писала ему «приказы» наподобие следующих (форма их тоже была выдумана отцом):

«21 октября 1934 г.

Тов. И. В. Сталину,
секретарю № 1.

Приказ № 4

Приказываю тебе взять меня с собой.

Подпись: Сетанка-хозяйка.
Печать.

Подпись секретаря № 1:

Покоряюсь. И. Сталин».

Очевидно, дело касалось того, что меня не брали в кино или в театр, а я просила. Или: «Приказываю тебе

позволить мне поехать завтра в Зубалово» — 10 мая 1934 года. Или: «Приказываю тебе повести меня с собой в театр» — 15 апреля 1934 года. Или: «Приказываю тебе позволить мне пойти в кино, а ты закажи фильм «Чапаев» и какую-нибудь американскую комедию» — 28 октября 1934 года.

Отец подписывался под «приказом»: «Слушаюсь», «Покоряюсь», «Согласен», или «Будет исполнено».

И, так как отец все требовал новых «приказов», а мне это уже надоело, то однажды я написала так: Приказываю тебе позволить мне писать приказ один раз в шестидневку» — 26 февраля 1937 года.

Став чуть постарше, я несколько разнообразила эти требования:

«Папа!! Ввиду того, что сейчас уже мороз, приказываю носить шубу. Сетанка-хозяйка» — 15 декабря 1938 года.

Потом, не дождавшись позднего прихода отца домой, я оставляла ему на столе возле прибора послание:

«Дорогой мой папочка!

Я опять прибегаю к старому, испытанному способу, пишу тебе послание, а то тебя не дождешься.

Можете обедать, пить (не очень), беседовать.

Ваш поздний приход, товарищ секретарь, заставляет меня сделать Вам выговор.

В заключение целую папочку крепко-крепко и выражаю желание, чтобы он приходил пораньше.

Сетанка-хозяйка».

На этом послании от 11 октября 1940 года отец начертал: «Моей воробушке. Читал с удовольствием. Папочка».

И, наконец, последнее подобное шуточное послание — в мае 1941 года, на пороге войны:

«Мой дорогой секретаришка, спешу Вас уведомить, что Ваша хозяйка написала сочинение на «отлично!». Таким образом, первое испытание сдано, завтра сдаю второе. Кушайте и пейте на здоровье. Целую крепко папочку 1000 раз. Секретарям привет. Хозяйка».

И «резолюция» сверху на этом: «Приветствуем нашу хозяйку! За секретаришек — папка И. Сталин».

Вскоре началась война и всем было не до шуток, не до игр. Но прозвище «Сетанка-Хозяйка» долго еще оставалось за мной, и все участники этой игры долго потом называли меня, уже взрослую, «хозяйкой», и вспоминали про эти детские «приказы».

Когда началась война, мне было пятнадцать лет. Осенью 1941 года нас отправили в Куйбышев,— я должна была там окончить девятый класс. В те годы — 1942-43 — произошли события, навсегда разъединившие нас с отцом — мы стали относиться друг к другу отчужденно. Но его ласку, его любовь и нежность ко мне в детстве я никогда не забуду. Он мало с кем был так нежен, как со мной,— должно быть когда-то он очень любил маму. Еще любил он и уважал свою мать. Он говорил, что она была умной женщиной. Он имел ввиду ее душевные качества, а не образование,—она едва умела нацарапать свое имя. Он рассказывал иногда, как она колотила его, когда он был маленьким, как колотила и его отца, любившего выпить [1]. Характер у нее был, очевидно, строгий и решительный, и это восхищало отца. Она рано овдовела и стала еще суровее. У нее было много детей, но все умерли в раннем детстве,— только отец мой выжил. Она была очень набожна и мечтала о том, чтобы ее сын стал священником. Она осталась религиозной до последних своих дней и, когда отец навестил ее, незадолго до ее смерти, сказала ему: «А жаль, что ты так и не стал священником»... Он повторял эти ее слова с восхищением; ему нравилось ее пренебрежение к тому, чего он достиг — к земной славе, к суете...

Она так и не захотела покинуть Грузию и приехать жить в Москву, хотя отец звал ее, и мама тоже. Ей был не нужен столичный уклад жизни, она продолжала свою тихую, скромную жизнь простой набожной старухи. Умерла она в 1936 году около восьмидесяти лет. Отец очень огорчался, и часто говорил о ней позже.

Но он был плохим, невнимательным сыном, как и отцом, и мужем... Все его существо целиком было посвящено другому,— политике, борьбе,— поэтому чужие люди всегда были для него важнее и значительнее близких.

Отец обычно не допекал меня нотациями или какими-нибудь нудными придирками. Его родительское руководство было самым общим — хорошо учиться, больше бывать на воздухе, никакой роскоши, никакого баловства. Иногда он проявлял по отношению ко мне какие-то самодурские причуды. Однажды, когда мне было лет десять, в Сочи, отец, поглядев на меня (я была довольно «крупным ребенком») вдруг сказал: «Ты что это, голая

[1] Его отец и погиб в пьяной драке — кто-то ударил его ножом.

ходишь?» Я не понимала в чем дело. «Вот, вот!» — указал он на длину моего платья — оно было выше колен, как и полагалось в моем возрасте. «Черт знает что!» — сердился отец,— «а это что такое?». Мои детские трусики тоже его разозлили. «Безобразие! Физкультурницы!» раздражался он все больше — «ходят все голые!». Затем он отправился в свою комнату и вынес оттуда две своих нижних рубашки из батиста. «Идем!» — сказал он мне. «Вот, няня» — сказал он моей няне, на лице которой не отразилось удивления — «вот, сшейте ей сами шаровары, чтобы закрывали колени; а платье должно быть ниже колен!» — «Да, да!» — с готовностью ответила моя няня, вовек не спорившая со своими хозяевами.— «Папа!» — взмолилась я,— «да ведь так сейчас никто не носит!».

Но это был для него совсем не резон... И мне сшили дурацкие длинные шаровары и длинное платье, закрывавшее коленки — и все это я надевала только идя к отцу. Потом я постепенно укорачивала платье,— он не замечал, потому что ему было уже совсем не до того. И вскоре я вернулась к обычной одежде...

Но он не раз еще доводил меня до слез придирками к моей одежде: то вдруг ругал, почему я ношу летом носки, а не чулки,— «ходишь опять с голыми ногами!». То требовал, чтобы платье было не в талию, а широким балахоном. То сдирал с моей головы берет — «Что это за блин? Не можешь завести себе шляпы получше?». И сколько я ни уверяла, что все девочки носят береты, он был неумолим, пока это не проходило у него, и он не забывал сам.

Позже я узнала от Александры Николаевны Накашидзе, что старики в Грузии не переносят коротких платьев, коротких рукавов и носков. Даже став взрослой, идя к отцу, я всегда должна была думать, не слишком ли ярко я одета, так как неминуемо получила бы от него замечание. «На кого ты похожа?!»— произносил он иногда, не стесняясь присутствующих. Быть может, его раздражало, что я не походила внешне на маму, а долго оставалась неуклюжим подростком «спортивного типа». Чего-то ему во мне не хватало, в моей внешности. А вскоре и внутренний мой мир начал его раздражать.

Когда началась война, прекратились и эти редкие встречи с отцом, и для нас с ним настало полное отчуждение. А после войны мы не сблизились снова. Я выросла, и мои детские игры и забавы, развлекавшие отца, остались в далеком прошлом.

14

Когда в 1941 разразилась война, старший брат мой Яша отправился на фронт уже 23 июня, вместе со своей батареей, вместе со всем выпуском своей Академии[1]. Они только что закончили Академию, как раз к началу войны.

Он не сделал попытки использовать какую-нибудь, хоть самую малейшую возможность избежать опасности — хотя бы поехать не в самое пекло (в Белоруссию), или, может быть, отправиться куда-нибудь в тыл, или остаться где-нибудь при штабе.

Подобное поведение было исключено для него всем его характером, всем укладом его честной, порядочной и строгой жизни.И, так как отец относился к нему незаслуженно холодно,— а это было всем известно,— то никто из высших военных чинов не стал оказывать ему протекцию, зная, что это встретило бы только ярость отца.

Не знаю, почему Яша сделался профессиональным военным. Он был глубоко мирный человек — мягкий, немного медлительный, очень спокойный, но внутренне твердый и убежденный. Он был похож на отца миндалевидным, кавказским разрезом глаз, и больше ничем... Больше он походил на свою мать, Екатерину Сванидзе, умершую, когда ему было два года. Это сходство бросается в глаза и на портретах. Очевидно, и характер достался ему от нее — он не был ни честолюбив, ни властолюбив, ни резок, ни одержим. Не было в нем противоречивых качеств, взаимоисключающих стремлений; не было в нем и каких-либо блестящих способностей; он был скромен, прост, очень трудолюбив и трудоспособен, и очаровательно спокоен.

Я видела лишь раз или два, что он может и взорваться — внутренний жар был в нем; это происходило всегда из-за Василия, из-за привычки последнего сквернословить в моем присутствии и вообще при женщинах, и при ком угодно. Яша этого не выдерживал, набрасывался на Василия как лев, и начиналась рукопашная.

Яша жил в Тбилиси довольно долго. Его воспитывала тетка, сестра его матери, Александра Семеновна. Потом

[1] Московская артиллерийская академия имени Фрунзе.

юношей, по настоянию своего дяди Алеши Сванидзе, он приехал в Москву, чтобы учиться. Отец встретил его неприветливо, а мама старалась его опекать. Вообще говоря, жизнь в Кремле в одной квартире с нами и учеба на русском языке, трудно дававшемся ему вначале,— все это было совсем не для него. Оставшись в Грузии, он, наверное, жил бы спокойнее и лучше, как и его двоюродные братья.

Яша всегда чувствовал себя возле отца каким-то пасынком,— но не возле моей мамы, которую он очень любил. Первый брак принес ему трагедию. Отец не желал слышать о браке, не хотел ему помогать, и вообще вел себя, как самодур. Яша стрелялся у нас в кухне, рядом со своей маленькой комнаткой, ночью. Пуля прошла навылет, но он долго болел. Отец стал относиться к нему за это еще хуже — я уже писала об этом. Мне позже об этом рассказывала няня.

После этого Яша уехал в Ленинград и жил там в квартире у дедушки Сергея Яковлевича Аллилуева. Родилась девочка, которую он очень любил, но она вскоре умерла; этот первый брак его потом быстро распался. Яша работал в Ленинграде на ТЭЦ,— он был по специальности инженером-электриком. Ему бы и работать в этой мирной профессии...

В 1935 Яша приехал в Москву и поступил в Военную Артиллерийскую Академию. Примерно через год он женился на очень хорошенькой женщине, оставленной ее мужем. Юля была еврейкой, и это опять вызвало недовольство отца. Правда, в те годы он еще не высказывал свою ненависть к евреям так явно,— это началось у него позже, после войны, но в душе он никогда не питал к ним симпатии.

Но Яша был тверд. Он сам знал все слабости Юли, но относился к ней как истинный рыцарь, когда ее критиковали другие... Он любил ее, любил дочь Галочку, родившуюся в 1938 году, был хорошим семьянином и не обращал внимания на недовольство отца.

Он приходил иногда к нам на квартиру в Кремль, играл со мной, смотрел как я делаю уроки и с напряжением ждал, когда отец придет обедать. За столом он сидел обычно молча. Яша уважал отца и его мнения, и по его желанию стал военным. Но они были слишком разные люди, сойтись душевно им было невозможно. («Отец всегда говорит тезисами», как-то раз мне сказал Яша).

Яшино спокойствие и мягкость раздражали отца, бывшего порывистым и быстрым даже в старости.

До войны Яша с семьей жил у нас в Зубалове каждое лето, а весной мы с ним вместе занимались, готовясь каждый к своим экзаменам. У нас была там баня, а на бане был обширный чердак, где висели сухие березовые банные веники. Там было сухо и ароматно, мы притащили туда ковер, и занимались там вместе.

Перед началом войны Яше было тридцать три года, а мне пятнадцать, и мы только-только с ним подружились по-настоящему. Я любила его именно за его ровность, мягкость и спокойствие. А он всегда меня любил, играл со мной, а я теперь возилась с его дочкой...

Если бы не война, мы стали бы настоящими крепкими друзьями на всю жизнь.

Яша ушел на фронт на следующий же день после начала войны, и мы с ним простились по телефону,— уже невозможно было встретиться. Их часть отправляли прямо туда, где царила тогда полнейшая неразбериха — на запад Белоруссии, под Барановичи. Вскоре перестали поступать какие-бы то ни было известия.

Юля с Галочкой оставались у нас. Неведомо почему (в первые месяцы войны никто не знал толком, что делать, даже отец), нас отослали всех в Сочи: дедушку с бабушкой, Анну Сергеевну с двумя ее сыновьями, Юлю с Галочкой и меня с няней. В конце августа я говорила из Сочи с отцом по телефону. Юля стояла рядом, не сводя глаз с моего лица. Я спросила его, почему нет известий от Яши, и он медленно и ясно произнес: «Яша попал в плен». И, прежде чем я успела открыть рот, добавил: «Не говори ничего его жене пока что...» Юля поняла по моему лицу, что что-то стряслось, и бросилась ко мне с вопросами, как только я положила трубку, но я лишь твердила: «Он ничего сам не знает»... Новость казалась мне столь страшной, что я была бы не в силах сказать ее Юле — пусть уж ей скажет кто-нибудь другой...

Но отцом руководили совсем не гуманные соображения по отношению к Юле: у него зародилась мысль, что этот плен неспроста, что Яшу кто-то умышленно «выдал» и «подвел», и не причастна ли к этому Юля... Когда мы вернулись к сентябрю в Москву, он сказал мне: «Яшина дочка пусть останется пока у тебя... А жена его, по-видимому, нечестный человек, надо будет в этом разобраться...»

И Юля была арестована в Москве, осенью 1941 года,

и пробыла в тюрьме до весны 1943 года, когда «выяснилось», что она не имела никакого отношения к этому несчастью, и когда поведение самого Яши в плену, наконец-то, убедило отца, что он тоже не собирался сам сдаваться в плен...

На Москву осенью 1941 года сбрасывали листовки с Яшиными фотографиями — в гимнастерке, без ремня, без петлиц, худой и черный... Василий принес их домой, мы долго разглядывали, надеясь, что это фальшивка,— но нет, не узнать Яшу было невозможно...

Спустя много лет, возвращались домой люди, которые тоже побывали в плену, а освободившись из плена, попадали к нам в лагеря, в тайгу, на север... Многие слышали о том, что Яша был в плену,— немцы использовали этот факт в пропагандных целях. Но было известно, что он вел себя достойно, не поддаваясь ни на какие провокации, и, соответственно испытывал жестокое обращение.

Зимою 1943-44 года, уже после Сталинграда, отец вдруг сказал мне в одну из редких тогда наших встреч: «Немцы предлагали обменять Яшу на кого-нибудь из своих... Стану я с ними торговаться! Нет, на войне — как на войне». Он волновался,— это было видно по его раздраженному тону,— и больше не стал говорить об этом ни слова, а сунул мне какой-то текст на английском языке, что-то из переписки с Рузвельтом, и сказал: «Ну-ка, переведи! Учила, учила английский язык, а можешь ли перевести?» Я перевела, он был удивлен и доволен,— и аудиенция была закончена, так как ему было уже некогда.

Потом еще раз он сказал о Яше, летом 1945 года, после победы. Мы долго не виделись до того. «Яшу расстреляли немцы. Я получил письмо от бельгийского офицера, принца что-ли, с соболезнованием,— он был очевидцем... Их всех освободили американцы...». Ему было тяжко, он не хотел долго задерживаться на этой теме.

Валентина Васильевна Истомина (Валечка), бывшая в то время экономкой у отца, рассказывала мне позже, что такое же известие о Яшиной гибели услышал К. Е. Ворошилов на одном из фронтов в Германии, в самом конце войны. Он не знал, как сказать об этом отцу, и страдал сам — Яшу все знали и любили. Так услышали об этом из двух источников [1].

Может быть, слишком поздно, когда Яша уже погиб,

[1] Трудно считать их достоверными, и, мне кажется, гибель Яши все еще остается загадочной.

отец почувствовал к нему какое-то тепло и осознал несправедливость своего отношения к нему... Яша перенес почти четыре года плена, который наверное был для него ужаснее, чем для кого-либо другого... Он был тихим, молчаливым героем, чей подвиг был так же незаметен, честен и бескорыстен, как и вся его жизнь.

Я видела недавно во французском журнале статью шотландского офицера, якобы очевидца гибели Яши. К статьям подобного рода надо относиться осторожно — на Западе слишком много всяких фальшивок о «частной жизни» моего отца и членов его семьи. Но в этой статье — похожи на правду две вещи: фото Яши, худого, изможденного, в солдатской шинели, безусловно, не подделка; и тот, приведенный автором факт, что отец тогда ответил отрицательно, на официальный вопрос корреспондентов о том, находится ли в плену его сын. Это значит, что он сделал вид, что не знает этого,— и тем самым, следовательно, бросил Яшу на произвол судьбы... Это весьма похоже на отца — отказываться от своих, забывать их, как будто бы их не было... Впрочем, мы предали точно также всех своих пленных...

Во всяком случае, жизнь Яши всегда была честной и порядочной. Он был скромен, ему претило всякое упоминание о том, чей он сын... И он честно и последовательно избегал любых привилегий для своей персоны, да у него их никогда и не было.

Была сделана попытка увековечить его, как героя. Отец сам рассказывал мне, что Михаил Чиаурели, собираясь ставить марионеточную «эпопею» — «Падение Берлина», советовался с отцом: у него был замысел дать там Яшу, как героя войны. Великий спекулянт от искусства, Чиаурели почуял, какой мог бы выйти «сюжет» из этой трагической судьбы... Но отец не согласился. Я думаю, он был прав. Чиаурели сделал бы из Яши такую же фальшивую куклу, как из всех остальных. Ему нужен был этот «сюжет» лишь для возвеличения отца, которым он так упоенно занимался в своем «искусстве». Слава Богу, Яша не попал на экран в таком виде...

Хотя отец вряд ли имел это в виду, отказывая М. Чиаурели, ему просто не хотелось выпячивать своих родственников, которых он, всех без исключения, считал незаслуживавшими памяти.

А благодарной памяти Яша заслуживал; разве быть честным, порядочным человеком в наше время — не подвиг?..

15

Когда началась война, у всех людей проснулось чувство общности, всякие разногласия отступили перед лицом общей опасности. Так произошло даже в нашей, уже развалившейся семье.

Сначала нас всех отослали в Сочи: бабушку, дедушку, Галочку (Яшину дочку) с ее матерью, Анну Сергеевну с детьми, меня с няней. К сентябрю 1941 года мы вернулись в Москву и я увидела как разворотило бомбой угол Арсенала, построенного Баженовым,— как раз напротив наших окон. Перед нашим домом спешно заканчивали строить бомбоубежище для правительства, с ходом из нашей квартиры. Я потом бывала там несколько раз вместе с отцом.

Было страшно все,— жизнь перевернулась и распалась, надо было уезжать из Москвы, чтобы учиться. В нашу школу попала бомба, и это тоже было страшно.

Затем, опять же неожиданно, нас собрали и отправили в Куйбышев: долго грузили вещи в специальный вагон... Поедет ли отец из Москвы — было неизвестно; на всякий случай грузили и его библиотеку.

В Куйбышеве нам всем отвели особнячок на Пионерской улице, с двориком. Здесь был какой-то музей. Дом был наспех отремонтирован, пахло краской, а в коридорах — мышами. С нами приехала вся домашняя «свита» — Александра Николаевна Накашидзе со всеми поварами, подавальщицами, охраной, «дядькой» моим, Михаилом Никитичем Климовым, и няней. Ехала с нами и первая жена Василия — молоденькая, беременная Галя, и в октябре 1941 года она родила в Куйбышеве сына Сашу. Кое-как все разместились в особнячке; не обошлось без склок бабушки с Александрой Николаевной. Лишь дедушка захотел остаться в Тбилиси — он уехал туда из Сочи и прекрасно провел там два года.

Дом наш был полон. Я ходила в школу в девятый класс, все мы слушали каждый день сводки радио. Осень 1941 года была очень тревожной.

В конце октября 1941 года я поехала в Москву — повидать отца. Он не писал мне, говорить с ним по телефо-

ну было трудно — он нервничал, сердился и отвечал лишь, что ему некогда со мной разговаривать.

В Москву я приехала 28 октября — в тот самый день, когда бомбы попали в Большой театр, в университет на Моховой, и в здание ЦК на Старой площади. Отец был в убежище, в Кремле, и я спустилась туда. Такие же комнаты, отделанные деревянными панелями, тот же большой стол с приборами, как и у него в Кунцево, точно такая же мебель. Коменданты гордились тем, как они здорово копировали Ближнюю дачу, считая, что угождают этим отцу. Пришли те же лица, что и всегда, только все теперь в военной форме. Все были возбуждены — только что сообщили, что разведчик, пролетев над Москвой, всюду набросал небольших бомб...

Отец не замечал меня, я мешала ему. Кругом лежали и висели карты, ему докладывали обстановку на фронтах.

Наконец, он заметил меня, надо было что-то сказать... «Ну, как ты там, подружилась с кем-нибудь из куйбышевцев?» — спросил он, не очень думая о своем вопросе. «Нет»,— ответила я,— «там организовали специальную школу из эвакуированных детей, их много очень»,— сказала я, не предполагая, какова будет на это реакция. Отец вдруг поднял на меня быстрые глаза, как он делал всегда, когда что-либо его задевало: «Как? Специальную школу?» — я видела, что он приходит постепенно в ярость. «Ах вы!» — он искал слова поприличнее,— «ах вы, каста проклятая! Ишь, правительство, москвичи приехали, школу им отдельную подавай! Власик — подлец, это его все рук дело!...». Он был уже в гневе, и только неотложные дела и присутствие других отвлекли его от этой темы.

Он был прав,— приехала каста, приехала столичная верхушка в город, наполовину выселенный, чтобы разместить все эти семьи, привыкшие к комфортабельной жизни и «теснившиеся» здесь в скромных провинциальных квартирках...

Но поздно было говорить о касте, она уже успела возникнуть и теперь, конечно, жила по своим кастовым законам.

В Куйбышеве, где москвичи варились в собственном соку, это было особенно видно. В нашей — «эмигрантской» школе все московские знатные детки, собранные вместе, являли столь ужасающее зрелище, что некоторые местные педагоги отказывались итти в классы вести урок.

Слава Богу, я училась там лишь одну зиму и уже в июне вернулась в Москву.

Я ездила в Москву из Куйбышева еще в ноябре 1941 года и в январе 1942, тоже на день-два, повидать отца. Он был, как и в первый раз, занят и раздражен,— ему было абсолютно не до меня и вообще не до наших глупых домашних дел...

Я чувствовала себя в ту зиму страшно одинокой. Может быть, возраст уже подходил такой, — шестнадцать лет, пора мечтаний, исканий, сомнений, которых я не знала раньше. В Куйбышеве я стала впервые ходить слушать серьезную музыку,— туда была эвакуирована филармония. Там впервые исполнили и седьмую симфонию Шостаковича.

У нас внизу, в длинном темном коридоре возле кухни крутили кино-передвижку — мы смотрели хронику с фронтов, осажденный Ленинград, осень под Москвой... Хроника тех военных лет незабываема — ее тогда снимали прямо в боях, в окопах, под надвигающимися танками...

Приехал ненадолго Василий повидать сына. Он лишь перед войной окончил авиационное училище в Липецке,— тогда еще сам летал на истребителях,— но уже был майор и назначен Начальником Инспекции ВВС,— какая-то непонятная должность непосредственно в подчинении у отца. Недолго Василий был под Орлом, потом штабквартира его была в Москве, на Пироговской — там он заседал в колоссальном своем кабинете. В Куйбышеве возле него толпилось много незнакомых летчиков, все были подобострастны перед молоденьким начальником, которому едва исполнилось двадцать лет. Это подхалимничание и погубило его потом. Возле него не было никого из старых друзей, которые были с ним наравне... Эти же все заискивали, жены их навещали Галю и тоже искали с ней дружбы.

В доме нашем была толчея. Кругом была неразбериха, — и в головах наших тоже. И не было никого с кем бы душу отвести, кто бы научил, кто бы сказал умное, твердое, честное слово...

В ту зиму обрушилось на меня страшное открытие. Я читала английские и американские журналы, просто из интереса к информации и к языку — "Life", "Fortune", "The Illustrated London News". И вдруг наткнулась на статью об отце, где, как давно известный факт упоминалось, что «жена его, Надежда Сергеевна Аллилуева по-

кончила с собой в ночь на 9 ноября 1932 года». Я была потрясена, я не верила своим глазам, но ужасно, что я верила этому сердцем. В самом деле, все произошло так неожиданно тогда... Я ринулась к бабушке и сказала, что «я все знаю, почему от меня скрывали?». Бабушка очень удивилась, и тут же стала подробно рассказывать, как это на самом деле произошло. «Ну кто бы мог подумать?» — повторяла она без конца,— «ну, кто бы мог подумать, что она это сделает?»

С тех пор мне не было покоя. Я вспоминала то, что могла помнить. Я думала об отце, о его характере, о том, как в самом деле, трудно с ним; я искала причин, но никто не хотел мне толком объяснить... Да и потом Анна Сергеевна и бабушка не так уж хорошо понимали маму, событие это уже было заслонено для них новыми несчастиями, (смертью Павлуши, гибелью Реденса, обоих Сванидзе), острота его со временем для них притупилась.

А я не находила себе места. Что-то рухнуло во мне самой и в моем беспрекословном подчинении воле, слову, мнениям отца...

Все связанное с недавним арестом Юли теперь начинало казаться мне странным — почему отец сказал тогда по телефону: «Только не говори пока ничего Яшиной жене!»

Я начинала думать о том, о чем никогда раньше не думала: а так ли уж всегда бывает прав мой отец? Думать *так* тогда, в то время, было кощунственно, потому что в глазах всех, кто окружал меня, имя отца было соединено с волей к победе, с надеждой на победу и на окончание войны. И сам отец был так далеко, так невероятно далеко от меня... Это были лишь попытки сомнений.

Осенью 1941 года в Куйбышеве было подготовлено жилье и для отца. Ждали, что он сюда приедет. Отремонтировали несколько дач на берегу Волги, выстроили под землей колоссальные бомбоубежища. В городе для него отвели бывшее здание обкома, устроили там такие же пустынные комнаты со столами и диванами, какие были у него в Москве. Все это ожидало его напрасно целую зиму.

Наконец, в июне 1942 года, Галя с ребенком, Александра Николаевна, няня и я вернулись в Москву, откуда я решила ни за что больше не уезжать.

В Москве нас огорчили: осенью было взорвано наше дорогое Зубалово, так как ждали, что вот-вот подойдут немцы. Мы поехали посмотреть. Стояли ужасные глыбы

толстых, старых стен, но строили уже новый, упрощенный вариант дома, не похожий на старый,— что-то было безвозвратно утрачено. Мы поселились пока что во флигеле, а к октябрю перебрались в только что отстроенный, несуразный, выкрашенный «для маскировки» в темно-зеленый цвет, дом. Бог знает, как он теперь выглядел: уродливый, с наполовину усеченной башней, с обрезанными террасами. Там мы все и разместились: Галя с ребенком, Василий, Гуля — Яшина дочка со своей няней, я — со своей, Анна Сергеевна с сыновьями.

Жизнь в Зубалове была в ту зиму 1942 и 1943 года необычной и неприятной... В дом вошел неведомый ему до этой поры дух пьяного разгула. К Василию приезжали гости: спортсмены, актеры, его друзья — летчики, и постоянно устраивались обильные возлияния, гремела радиола. Шло веселье, как будто не было войны. И вместе с тем было предельно скучно,— ни одного лица, с кем бы всерьез поговорить, ну хотя бы о том, что происходит в мире, в стране, и у себя в душе... В нашем доме всегда было скучно, я привыкла к изоляции, к одиночеству. Но если раньше было скучно и тихо, теперь было скучно и шумно.

Осенью 1942 года в Москву приезжал Уинстон Черчилль. Как-то раз Александра Николаевна Накашидзе, позвонила мне и сказала, что надо приехать в город, потому что вечером Черчилль будет у нас обедать и отец велел мне быть дома. Я поехала, думая о том, прилично ли сказать несколько слов по-английски — или уж лучше помалкивать.

Квартира наша была пуста и неуютна. В столовой у отца стояли пустые книжные шкафы,— библиотеку вывезли в Куйбышев. Домашние суетились, кто-то звонил из МИД'а с рекомендациями, как надо принять иностранцев.

Наконец, все гости прошли по коридору в столовую, и я отправилась туда же. Отец был чрезвычайно радушен. Он был в том самом гостеприимном и любезном расположении духа, которое очаровывало всех. Он сказал: «Это моя дочь!» и добавил, потрепав меня рукой по голове: «Рыжая!». Уинстон Черчилль заулыбался и заметил, что он тоже в молодости был рыжим, а теперь вот — он ткнул сигарой себе в голову... Потом он сказал, что его дочь служит в королевских военно-воздушных силах. Я понимала его, но смущалась что-либо произносить. Со мной было покончено, разговор пошел по другому рус-

лу — о пушках, самолетах... Я почти все понимала еще до того, как переводчик В. Н. Павлов стал переводить. Но мне не дали слушать долго,— отец меня поцеловал и сказал, что я могу итти заниматься своими делами.

Почему ему захотелось показать меня Черчиллю, мне тогда не было понятно. А, впрочем, теперь мне это понятно,— ему хотелось, хоть немного выглядеть обыкновенным человеком. Черчилль был ему симпатичен, это было заметно.

С октября я начала учиться в десятом классе. Учителя были наши старые, довоенные; ученики наполовину разъехались, было много незнакомых. В школе было холодно. Но уроки Анны Алексеевны Яснопольской,— лучшей в Москве преподавательницы литературы,— согревали и сердце и ум. В ту зиму программа у нас была обширна: сначала Гете и Шиллер, потом — Чехов, Горький, и поэзия — от акмеистов до Маяковского и Есенина, советская литература...

Я жила тогда в мире искусства — музыки, литературы, живописи — которой только начала интересоваться и о которой Анна Алексеевна тоже нам рассказывала. Мы все тогда упивались стихами и героикой...

«Как это было! Как совпало,
Война, беда, мечта и юность...
Как это все во мне запало
И только позже лишь очнулось!»

— говорил о том времени Давид Самойлов, в чудном своем стихотворении «Сороковые, роковые...»

В ту же зиму 1942-43 года я познакомилась с человеком, из-за которого навсегда испортились мои отношения с отцом,— с Алексеем Яковлевичем Каплером.

16

Алексей Яковлевич Каплер живет сейчас в Москве, учит молодых специалистов в Институте кинематографии, пишет кино-сценарии, проводит семинары,— он признанный старый мастер кинематографа... Жизнь его, после десяти лет ссылки и лагерей, вошла в свою нормальную колею, как жизнь многих, уцелевших и выживших после ударов судьбы.

Всего лишь какие-то считанные часы провели мы вместе зимой 1942-43 года, да потом, через одиннадцать лет, такие же считанные часы в 1955 году — вот и все... Мимолетные встречи сорокалетнего человека с «гимназисткой» и недолгое их продолжение потом — стоит ли вообще много говорить и думать об этом?

Василий привез Каплера к нам в Зубалово в конце октября 1942 года. Был задуман новый фильм о летчиках, и Василий взялся его консультировать. Он познакомился тогда для этой цели также с Р. Карменом, М. Слуцким, К. Симоновым, В. Войтеховым, но, кажется, дальше шумных застолий дело не двинулось. В первый момент мы оба, кажется, не произвели друг на друга никакого впечатления. Но потом — нас всех пригласили на просмотры фильмов в Гнездниковском переулке, и тут мы впервые заговорили о кино.

Люся Каплер — как все его звали — был очень удивлен, что я что-то вообще понимаю, и доволен, что мне не понравился американский боевик с герлс и чечеткой. Тогда он предложил показать мне «хорошие фильмы» по своему выбору, и в следующий раз привез к нам в Зубалово «Королеву Христину» с Гретой Гарбо. Я была совершенно потрясена тогда фильмом, а Люся был очень доволен мной...

Вскоре были ноябрьские праздники. Приехало много народа. К. Симонов был с Валей Серовой, Б. Войтехов с Л. Целиковской, Р. Кармен с женой, известной московской красавицей Ниной, летчики — уж не помню, кто еще.

После шумного застолья начались танцы. Люся спросил меня неуверенно: «Вы танцуете фокстрот?»... Мне сшили тогда мое первое хорошее платье у хорошей портнихи. Я приколола к нему старую мамину гранатовую

брошь, а на ногах были полуботинки без каблуков. Должно быть, я была смешным цыпленком, но Люся заверил меня, что я танцую очень легко, и мне стало так хорошо, так тепло и спокойно с ним рядом! Я чувствовала какое-то необычайное доверие к этому толстому дружелюбному человеку, мне захотелось вдруг положить голову к нему на грудь и закрыть глаза...

«Что вы невеселая сегодня?» — спросил он, не задумываясь о том, что услышит в ответ. И тут я стала, не выпуская его рук и продолжая переступать ногами, говорить обо всем — как мне скучно дома, как неинтересно с братом и с родственниками; о том, что сегодня десять лет со дня смерти мамы, а никто не помнит об этом и говорить об этом не с кем,— все полилось вдруг из сердца, а мы все танцевали, все ставили новые пластинки, и никто не обращал на нас внимания...

Крепкие нити протянулись между нами в этот вечер — мы уже были не чужие, мы были друзья. Люся был удивлен, растроган. У него был дар легкого непринужденного общения с самыми разными людьми. Он был дружелюбен, весел, ему было все интересно. В то время он был как-то одинок сам, и может быть, тоже искал чьей-то поддержки...

Незадолго до этого он возвратился из партизанского края Белоруссии, где собрал интересный материал для фильма. Он жил в нетопленой гостинице «Савой», куда приходили к нему его многочисленные друзья, военные корреспонденты.

Нас потянуло друг к другу неудержимо. После праздников Люся еще несколько дней оставался в Москве, потом ему предстояла поездка в Сталинград. В эти несколько дней мы старались видеться как можно чаще, хотя при моем образе жизни это было невообразимо трудно. Но Люся приходил к моей школе и стоял в подъезде соседнего дома, наблюдая за мной. А у меня радостно сжималось сердце, так как я знала, что он там... Мы ходили в холодную военную Третьяковку, смотрели выставку о войне. Мы бродили там долго, пока не отзвонили все звонки,— нам некуда было деваться. Потом ходили в театры. Тогда только что пошел «Фронт» Корнейчука, о котором Люся сказал, что «искусство там и не ночевало». Смотрели «Синюю Птицу», потом «Пиковую Даму»; Люся признался, что терпеть не может оперу, но нам хорошо было гулять по фойе.

В просмотровом зале Комитета кинематографии на

Гнездниковском Люся показал мне тогда «Белоснежку и семь гномов»» Диснея, и чудесный фильм «Молодой Линкольн». В небольшом зале мы сидели одни...

Люся приносил мне книги: «Иметь и не иметь», «По ком звонит колокол» Хемингуэя [1], «Все люди — враги» Олдингтона. Он давал мне «взрослые» книги о любви, совершенно уверенный, что я все пойму. Не знаю, все ли я поняла в них тогда, но я помню эти книги, как будто прочла их вчера... Огромная «Антология русской поэзии от символизма до наших дней», которую Люся подарил мне, вся была испещрена его галочками и крестиками около его любимых стихов. И я с тех пор знаю наизусть Ахматову, Гумилева, Ходасевича... О, что это была за антология,— она долго хранилась у меня дома и в какие только минуты я не заглядывала в нее...

Мы ходили вместе по улицам темной заснеженной военной Москвы, и все никак не могли наговориться... А за нами поодаль шествовал мой несчастный «дядька» Михаил Никитич Климов, совершенно обескураженный сложившейся ситуацией и тем, что Люся очень любезно с ним здоровался и давал прикурить. Мы как-то не реагировали на «дядьку», да и он беззлобно глядел на нас — до поры, до времени...

Люся был для меня тогда самым умным, самым добрым и прекрасным человеком. От него шли свет и очарование знаний. Он раскрывал мне мир искусства — незнакомый, неизведанный. А он все не переставал удивляться мне, ему казалось необыкновенным, что я понимаю, слушаю, впитываю его слова, и что они находят отзвук...

Вскоре Люся уехал в Сталинград. Это был канун сталинградской битвы. Люся знал, что мне будет интересно все знать, что он увидит там — и он сделал потрясающий по своему рыцарству и легкомыслию шаг... В конце ноября, развернув «Правду», я прочла в ней статью спецкора А. Каплера — «Письмо лейтенанта Л. из Сталинграда. Письмо первое» — и дальше, в форме письма некоего лейтенанта к своей любимой, рассказывалось обо всем, что происходило тогда в Сталинграде, за которым следил в те дни весь мир.

Увидев это, я похолодела. Я представила себе, как мой отец разворачивает газету... Дело в том, что ему уже было «доложено» о моем странном, очень странном поведении. И он уже однажды намекнул мне очень недо-

---

[1] «По ком звонит колокол» он мне достал в переводе, который уже тогда ходил по рукам, но до сих пор не опубликован!

вольным тоном, что я веду себя недопустимо. Я оставила этот намек без внимания, и продолжала вести себя так же, а теперь он, несомненно, прочтет эту статью, где все так понятно,— даже наше хождение в Третьяковку описано совершенно точно...

И надо же было так закончить статью: «Сейчас в Москве, наверное, идет снег. Из твоего окна видна зубчатая стена Кремля»... Боже мой, что теперь будет?!

Люся возвратился из Сталинграда под Новый, 1943-й год. Вскоре мы встретились, и я его умоляла только об одном: больше не видеться и не звонить друг другу. Я чувствовала, что все это может кончиться ужасно. Он и сам был обескуражен, и говорил, что статью он посылал не для «Правды», что его «подвели друзья». Но, по-видимому, он и сам понимал, что мы привлекаем к себе слишком опасное внимание, и он согласился, что нам надо расстаться...

Мы не звонили друг другу две или три недели — весь оставшийся январь. Но от этого только еще больше думали друг о друге. Позже, через двенадцать лет, мы сопоставляли события: Люся говорил, что лежал это время на диване, никуда не ходил и только смотрел на стоявший рядом телефон.

Наконец, я первая не выдержала и позвонила ему. И все снова закрутилось. Мы говорили каждый день по телефону не менее часа. Мои домашние были все в ужасе.

Решили как-то образумить Люсю. Ему позвонил полковник Румянцев, ближайший помощник и правая рука генерала Власика — одна из тех же фигур, охранявших отца. Уж им то все было известно про нас,— даже то, чего никогда не было... Румянцев дипломатично предложил Люсе уехать из Москвы куда-нибудь в командировку, подальше... Люся послал его к черту и повесил трубку.

Весь февраль мы снова ходили в кино, в театры, и просто гулять. Тучи сгущались над нами, мы чувствовали это. В последний день февраля был мой день рождения,— мне исполнилось тогда 17 лет; мы хотели где-нибудь посидеть спокойно в этот день, и никак не могли придумать, как бы это сделать? Ни один из нас не имел возможности прийти домой к другому, мы могли только найти нейтральное место. Но и в пустую квартиру около Курского вокзала, где собирались иногда летчики Василия, мы пришли не одни, а в сопровождении моего «дядьки» Климова; он был ужасно испуган, когда после уроков в школе я вдруг двинулась совсем не в обычном направлении...

И там он сидел в смежной комнате, делая вид, что читает газету, а на самом деле старался уловить, что же происходит в соседней комнате, дверь в которую была открыта настежь.

Что там происходило? Мы не могли больше беседовать. Мы целовались молча, стоя рядом. Мы знали, что видимся в последний раз. Люся понимал, что добром все это не кончится, и решил уехать; у него уже была готова командировка в Ташкент, где должны были снимать его фильм «Она защищает родину», о белорусских партизанах. Нам было горько — и сладко. Мы молчали, смотрели в глаза друг другу, и целовались. Мы были счастливы безмерно, хотя у обоих наворачивались слезы.

Потом я пошла к себе домой, усталая, разбитая, предчувствуя беду. А за мной плелся мой «дядька», тоже содрогавшийся от мысли, что теперь будет ему...

А Люся поехал домой собирать вещи, чтобы через несколько дней уехать из Москвы. 1-го марта у него была Таня Тэсс. Он сидел грустный, подавленный,— это мне рассказывали они оба — Люся и Таня — через двенадцать лет... А на следующий день, 2-го марта 1943 года, когда он уже собрался ехать, пришли к нему домой двое, и попросили следовать за ними. И поехали они все на Лубянку. Тут увидел Люся и знаменитого нашего генерала Власика, приехавшего лично удостовериться, так ли все идет, как надо. Все шло, как надо... Люсю обыскали, объявили ему, что он арестован. Мотивы — связи с иностранцами. Он действительно бывал не раз за границей, и в Москве знал едва ли не всех иностранных корреспондентов. Этого он не мог отрицать. И этого было уже достаточно для обвинения в чем угодно...

Обо мне, разумеется, не было произнесено ни одного слова. Так началась для Люси иная жизнь, которая продолжалась для него, начиная с этого дня, десять лет...

3-го марта утром, когда я собиралась в школу, неожиданно домой приехал отец, что было совершенно необычно. Он прошел своим быстрым шагом прямо в мою комнату, где от одного его взгляда окаменела моя няня, да так и приросла к полу в углу комнаты... Я никогда еще не видела отца таким. Обычно сдержанный и на слова и на эмоции, он задыхался от гнева, он едва мог говорить: «Где, где это все? — выговорил он,— где все эти письма твоего писателя?».

Нельзя передать, с каким презрением выговорил он слово «писатель»... «Мне все известно! Все твои телефон-

ные разговоры — вот они, здесь!,— он похлопал себя рукой по карману,— Ну! Давай сюда! Твой Каплер — английский шпион, он арестован!».

Я достала из своего стола все Люсины записи и фотографии с его надписями, которые он привез мне из Сталинграда. Тут были и его записные книжки, и наброски рассказов, и один новый сценарий о Шостаковиче. Тут было и длинное печальное прощальное письмо Люси, которое он дал мне в день рождения —на память о нем.

«А я люблю его!» — сказала, наконец, я, обретя дар речи. «Любишь!» — выкрикнул отец с невыразимой злостью к самому этому слову — и я получила две пощечины,— впервые в своей жизни. «Подумайте, няня, до чего она дошла!» — он не мог больше сдерживаться.— «Идет такая война, а она занята...!» и он произнес грубые мужицкие слова,— других слов он не находил...

«Нет, нет, нет» — повторяла моя няня, стоя в углу и отмахиваясь от чего-то страшного пухлой своей рукой,— «Нет, нет, нет!».

«Как так — нет?!» — не унимался отец, хотя после пощечин он уже выдохся и стал говорить спокойнее,— «Как так нет, я все знаю!». И, взглянув на меня, произнес то, что сразило меня наповал: «Ты бы посмотрела на себя — кому ты нужна?! У него кругом бабы, дура!» И ушел к себе в столовую, забрав все, чтобы прочитать своими глазами.

У меня все было сломано в душе. Последние его слова попали в точку. Можно было бы безрезультатно пытаться очернить в моих глазах Люсю — это не имело бы успеха. Но, когда мне сказали — «Посмотри на себя» — тут я поняла, что действительно, кому могла быть я нужна? Разве мог Люся всерьез полюбить меня? Зачем я была нужна ему? Фразу о том, что «твой Каплер — английский шпион» я даже как-то не осознала сразу. И только лишь, машинально продолжая собираться в школу, поняла, наконец, что произошло с Люсей... Но все это было как во сне.

Как во сне я вернулась из школы. «Зайди в столовую к папе» — сказали мне. Я пошла молча. Отец рвал и бросал в корзину мои письма и фотографии. «Писатель!» — бормотал он.— «Не умеет толком писать по-русски! Уж не могла себе русского найти!». То, что Каплер — еврей раздражало его, кажется, больше всего...

Мне было все безразлично. Я молчала, потом пошла к себе. С этого дня мы с отцом стали чужими надолго. Не разговаривали мы несколько месяцев; только летом

встретились снова. Но никогда потом не возникало между нами прежних отношений. Я была для него уже не та любимая дочь, что прежде.

* * *

Люся был вскоре выслан на север на пять лет. Он жил в Воркуте, работал в театре. По окончании срока он решил уехать в Киев, к своим родителям (в Москву ему не разрешалось вернуться). Но он, все-таки, ненадолго приехал в Москву, несмотря на всю опасность. Это был 1948 год...

Он приехал. И, когда он сел в поезд, чтобы ехать в Киев, то в вагон вошли, и со следующей станции он был увезен совсем в другом направлении... Теперь уж его выслали не на поселение, а в лагеря, в страшные лагеря под Интой, работать в шахте. Еще пять лет. За ослушание...

В марте 1953 года кончался его срок. Он просил, чтобы ему разрешили вернуться в Воркуту, где был театр, чтобы поселиться там. Но его неожиданно перевели снова на Лубянку в Москву...

И вскоре, в июле 1953 года, ему сказали: «Вы свободны. Можете итти домой. Какой ваш адрес? Куда бы вы хотели позвонить?». И он вышел, и пошел по летним улицам Москвы, которых не видал столько лет, по жарким июльским улицам и бульварам...

* * *

Все эти десять лет я почти ничего не знала о Люсе достоверно; образ жизни мой был таков, что я не смогла бы встретиться с его друзьями так, чтобы это не стало тут же известным. Я знала лишь, что он выслан на север «за связи с иностранцами». Не знала я и того, что в 1948 году он недолго был в Москве.

Мне оставалась только память о тех счастливых мгновениях, которые подарил мне Люся.

И вот пришел 1953 год. И пришло снова 3-е марта, через десять лет после того дня, когда отец вошел, разъяренный, в мою комнату и ударил меня по щекам. И вот я сижу у его постели, и он умирает. Я сижу, смотрю на суету врачей вокруг, и думаю о разном... И о Люсе думаю, ведь десять лет как он был арестован. Какова его судьба? Что с ним сейчас?

А еще через год, на II-ом Съезде Советских писателей в Кремле, в залитом огнями Георгиевском зале я встречаю Люсю — через одиннадцать лет после того, как мы виделись в последний раз...

17

Весной, 1943 года, я окончила школу. С отцом мы не встречались и даже не разговаривали по телефону четыре месяца, с того дня 3-го марта. Лишь в июле я позвонила к нему и сказала, что школу окончила. «Приезжай!» — буркнул он.

Я показала ему аттестат и сказала, что хочу поступать в университет, на филологический. Меня тянуло к литературе, и это же советовала мне Анна Алексеевна, наша школьная учительница.

«В литераторы хочешь! — недовольно проговорил отец,— так и тянет тебя в эту богему! Они же необразованные все, и ты хочешь быть такой... Нет, ты получи хорошее образование,— ну хотя бы на историческом. Надо знать историю общества,— литератору тоже это необходимо. Изучи историю, а потом занимайся, чем хочешь...» Таково было его резюме. И хотя оно было слишком категоричным, а я уже собралась с подругой вместе подавать на филологический,— я, все-таки, еще раз поверила авторитету отца и поступила на исторический факультет.

Я никогда не жалею об этом. Школа, полученная на истфаке, оказалась полезной. Только отец не предугадал, что из меня не получится «образованного марксиста» — как ему хотелось; получилось что-то совсем наоборот, именно *благодаря* изучению истории общества.

В доме стало опять тихо и скучно. Зубалово с весны 1943 года «закрыли»: отец сказал, что мы превратили его в вертеп. Бабушку и дедушку, приехавших летом, поместили в дом отдыха «Сосны».

Гуля, дочь Яши, вернулась к своей матери, которая два года пробыла в тюрьме, по страшной статье, каравшей родственников тех, кто сдался в плен. (Все, кто попал в плен, даже будучи ранеными — как Яша — считались «сдавшимися врагу». Правительство бросило на произвол, таким образом, во время войны миллионы своих пленных солдат и офицеров, отказавшись от какой-либо заботы об их дальнейшей судьбе. Не мудрено ли, что многие из них не захотели потом вернуться домой?...)

Василий был изгнан из Зубалова,— как и я,— «за разложение» и — по личному приказу отца (в его качест-

не министра обороны!) — получил десять суток карцера.

На кремлевской квартире тоже был разгром. Александра Николаевна Накашидзе, к великой моей радости, получила «доносчику — первый кнут!» и была выставлена вон из нашей квартиры. Шпионство за мной, копанье в моих тетрадках и письмах, подслушивание телефонных разговоров с Каплером и т. п. ее не спасли... Отцу надоела ее глупость,— к тому же она плохо справлялась со своими функциями и не «уберегла» меня от соблазнов... Она срочно вышла замуж за одного ответственного грузинского товарища и навсегда отбыла из нашего дома,— чему была и сама несказанно рада...

Осенью 1943 года, когда я пошла в университет, был «отменен» и дядька мой М. Н. Климов,— я умолила отца упразднить эту «охрану», так как невозможно было срамиться перед студентами. Отец неожиданно понял меня и согласился...

Только няня моя оставалась со мной еще долго — до самой своей смерти в 1956 году. Она по-прежнему что-то шила в своей комнате рядом с моей, стрекотала там ее швейная машинка. Иногда она тихонько приносила ко мне тарелку с очищенными и нарезанными яблоками, или чай с маленькими тартинками,— а я сидела уткнувшись в свои книжки.

С отцом я стала видеться крайне редко. Он перестал приезжать обедать домой, как раньше, и стал уезжать к себе в Кунцево, вместе со всеми, кто его постоянно окружал — обедали все там.

Весной 1944 года я вышла замуж. Мой первый муж, студент, как и я, был знакомый мне еще давно,— мы учились в одной и той же школе. Он был еврей, и это не устраивало моего отца. Но он как-то смирился с этим, ему не хотелось опять перегибать палку,— и поэтому он дал мне согласие на этот брак.

Я ездила к отцу специально для разговора об этом шаге. С ним вообще стало трудно говорить. Он был раз и навсегда мной недоволен, он был во мне разочарован.

Был май, все цвело кругом у него на даче — кипела черемуха, было тихо, пчелы жужжали... «Значит, замуж хочешь?» — сказал он. Потом долго молчал, смотрел на деревья... «Да, весна...»,— сказал он вдруг. И добавил: «Черт с тобой, делай, что хочешь...».

В этой фразе было очень много. Она означала, что он не будет препятствовать, и благодаря этому мы три года прожили безбедно, имели возможность оба спокойно

учиться. Я беззаботно родила ребенка и не думала о нем — его растили две няни — моя и та, которая вырастила Яшину Гулю, мою племянницу.

Только на одном отец настоял — чтобы мой муж не появлялся у него в доме. Нам дали квартиру в городе,— да мы были и довольны этим... И лишь одного он нас лишил — своего радушия, любви, человеческого отношения. Он ни разу не встретился с моим первым мужем, и твердо сказал, что этого не будет. «Слишком он расчетлив, твой молодой человек»... — говорил он мне. «Смотри-ка, на фронте ведь страшно, там стреляют,— а он, видишь, в тылу окопался...». Я молчала и не настаивала на встрече, она плохо бы кончилась...

Теперь я видела отца очень редко. После этой встречи только через полгода, осенью. Я сказала, что жду ребенка. Он размягчился и разрешил нам с мужем ездить в Зубалово — «тебе нужен воздух», сказал он. Мы стали снова ездить туда, совсем одни. Там было так пусто! Василий был на фронте со своей дивизией, потом — корпусом. Он шел и шел в гору — генерал, ордена, медали,— и все больше пил.

9-го мая 1945 года, когда по радио объявили о конце войны,— я позвонила отцу. Было раннее утро. Я ужасно волновалась,— в Москве было шумно, весело, уже все знали о победе... «Папа, поздравляю тебя, победа!» — смогла только сказать я, и мне захотелось плакать.

«Да, победа!» — сказал он.— «Спасибо. Поздравляю тебя! Как ты себя чувствуешь?». Я чувствовала себя великолепно, как все в Москве в тот день!

Мы с мужем собрали в своей квартире всех своих знакомых,— набилась полная квартира, пили шампанское, танцевали, пели... Улицы были полны народу,— я боялась выйти, я ждала уже через две недели ребенка. Я и родила его легко — такое веселое было у всех состояние духа, так радостно было всем в тот май 1945 года!

А отца я увидела снова лишь в августе,— когда он возвратился с потсдамской конференции. Я помню, что в тот день, когда я была у него — пришли обычные его посетители и сказали, что американцы сбросили в Японии первую атомную бомбу... Все были заняты этим сообщением, и отец не особенно внимательно разговаривал со мной. А у меня были такие важные — для меня — новости. Родился сын! Ему уже три месяца и назвали его Иосиф... Какое значение могли иметь подобные мелочи в ряду мировых событий,— это было просто никому неин-

тересно... К тому же мой брат успел что-то наговорить отцу нелестное о моем муже,— и отец был холоден, безразличен, замкнут.

В следующий раз мы увиделись нескоро... Отец заболел, и болел долго и трудно. Сказались напряжение и усталость военных лет и возраст,— ему ведь было уже шестьдесят шесть лет.

Я даже не помню, виделись ли мы с ним зимой 1945-46 года... Я снова училась в университете — надо было наверстывать пропущенный из-за ребенка год... Мы жили с мужем в городской нашей квартире, учились оба. Наш сын жил в Зубалове с нянями — моей и своей. Отец, очевидно, считал, что поскольку все, что надо, для меня делается,— чего же еще требовать? С моим мужем он твердо решил не знакомиться.

Он никогда не требовал, чтобы мы расстались. Мы расстались весной 1947 года — прожив три года — по причинам личного порядка, и тем удивительнее было мне слышать позже, будто отец настоял на разводе, будто он этого потребовал. За это время я видела его, наверное, еще раза два.

Летом 1946 года он уехал на юг — впервые после 1937-го года. Поехал он на машине. Огромная процессия потянулась по плохим тогда еще дорогам,— после этого и начали строить автомагистраль на Симферополь. Останавливались в городах, ночевали у секретарей обкомов, райкомов. Отцу хотелось посмотреть своими глазами, как живут люди,— а кругом была послевоенная разруха. Валентина Васильевна, всегда сопровождавшая отца во всех поездках, рассказывала мне позже как он нервничал видя, что люди живут еще в землянках, что кругом еще одни развалины... Рассказывала она и о том, как приехали к нему на юг тогда некоторые, высокопоставленные теперь, товарищи с докладом, как обстоит с сельским хозяйством на Украине. Навезли эти товарищи арбузов и дынь не в обхват, овощей и фруктов, и золотых снопов пшеницы — вот, какая богатая у нас Украина! А шофер одного из этих товарищей [1] рассказывал «обслуге», что на Украине голод, в деревне нет ничего, и крестьянки пашут на коровах... «Как им не стыдно,— кричит Валечка, и плачет,— как им не стыдно было его обманывать! А теперь все, все на него же и валят!».

После этой поездки на юг там начали строить еще

[1] Это был Хрущев.

несколько дач,— теперь они назывались «госдачи». Формально считалось, что там могут отдыхать все члены Политбюро, но обычно, кроме отца, Жданова, Молотова, ими никто не пользовался. Построили дачу под Сухуми, около Нового Афона, целый дачный комплекс на Рице, а также дачу на Валдае.

Отец был, конечно, доволен, что я рассталась со своим первым мужем, который ему никогда не нравился. Он несколько стал мягче со мной после этого, но ненадолго. Все-таки, я его раздражала,— из меня получилось совсем не то, чего бы ему хотелось. Но к сыну моему он относился с нежностью.

Летом, 1947 года, он пригласил меня отдыхать в августе вместе с ним в Сочи, на «Холодной речке». Впервые после многих лет мы провели вдвоем какое-то время: три недели. Это было приятно и печально,— и бесконечно трудно...

Я опять никак не могла привыкнуть к его перевернутому режиму,— пол-дня он спал, часа в три был завтрак, часов в десять вечера — обед и долгие полуночные бдения с товарищами.

Нам было трудно говорить,— и не о чем, как ни странно... Когда мы оставались одни, я изнемогала в поисках темы, о чем же говорить? Было такое ощущение, что стоишь у подножья высокой горы, а он — наверху ее; ты кричишь что-то туда, наверх, надрываясь,— туда долетают лишь отдельные слова... И оттуда долетают до тебя лишь отдельные слова; всего не скажешь таким образом, много не наговоришься. Мы гуляли иногда,— это было легче. Я читала ему вслух газеты, журналы — ему это нравилось. Он постарел. Ему хотелось покоя. Он не знал порою сам, чего ему хотелось... Вечером крутили кино — старые, довоенные фильмы, «Волгу-Волгу», которую он очень любил, фильмы Чаплина.

К обеду съезжались все — Берия, Маленков, Жданов, Булганин и другие. Это было изнурительно и скучно — сидеть за столом часа три-четыре, слушать все одни и те же, уже сто лет назад известные истории, как будто в мире вокруг не было новостей![1] Я изнемогала, и уходила спать. Все сидели еще долго за полночь.

Вскоре я уехала в Москву. Начинались занятия в университете. Я жила теперь снова в нашей пустынной крем-

---

[1] Эти застолья хорошо описаны в книге Джиласа «Беседы со Сталиным».

левской квартире — совсем вымершей... Василий жил в своей квартире в городе. Вместо Александры Николаевны, функции «сестры-хозяйки» нес теперь «комендант» — капитан госбезопасности Иван Иванович Бородачев, свято охранявший доверенные ему «ценности», и записывавший на бумажку книги, которые я брала из библиотеки отца в столовой...

Мой сын и няня были со мной,— няня все так же чистила мне яблоки и подставляла тарелку, когда я занималась...

Осенью пришло письмо от отца — я давно уже не получала от него писем... Оно было далеким отзвуком довоенных лет,— очень далеким и непохожим...

«Здравствуй, Светка!

Получил твое письмо. Хорошо, что не забываешь отца. Я здоров. Живу хорошо. Не скучаю. Посылаю тебе подарочек (мандарины). Целую.

Твой И. Сталин.

11. X. 1947».

Эти годы — 1947-49, были очень тоскливыми. Я жила совсем изолированно. Каждый шаг мой был поднадзорен — хотя М. Н. Климов уже давно не ходил за мной по пятам. Ося рос на даче, деревенским дикарем, и я иногда по целым неделям не видела его. Я ходила в университет, редко — в театры, очень часто — в консерваторию. Знакомых у меня было немного,— расширить круг их было невозможно.

Дом Ждановых, где я особенно часто стала бывать после смерти А. А. Жданова, казался мне — по сравнению с моей унылой крепостью — очень веселым. Там бывала по воскресеньям молодежь,— бывшие одноклассники Юрия Андреевича и университетские друзья.

В моей уединенной, полудикой жизни — это был оазис; мне нравилось там бывать, молодежь чувствовала себя там вольно. Отец мой очень любил А. А. Жданова, уважал и его сына, и всегда желал, чтобы семьи «породнились». Это вскоре и произошло,— весной 1949 года,— без особой любви, без особой привязанности, а так, по здравому размышлению... Мне казалось, к тому же что эта возможность уйти в другой дом даст мне хоть какую-то самомалейшую свободу, откроет доступ к людям, которого у меня не было.

Отцу хотелось другого. Я вдруг узнала, что на даче его в Кунцево пристраивают обширный второй этаж...

Потом он как-то раз приехал в Зубалово и сказал, побродив по комнатам: «Зачем тебе переезжать к Ждановым? Там тебя съедят бабы! Там слишком много баб!!». (Вопрос о браке уже как-то сам собой решился, я хотела закончить университет, а потом уже переехать в дом Ждановых).

Он не переносил вдову Жданова — Зинаиду Александровну и ее сестер...

Я испугалась — я никак не хотела оставаться у отца в доме, и я знала, что Юрий Андреевич ни за что не согласится переехать жить к нам.

Отец, по-видимому, с возрастом стал томиться одиночеством. Он был уже так изолирован от всех, так вознесен, что вокруг него образовался вакуум — не с кем было молвить слово...

Он послал меня летом 1948 года отдыхать в Крым с Оськой и с Гулей (Яшиной дочкой), о которой он иногда вспоминал и спрашивал... Потом прислал туда письмо: — «Приезжай к 10-му, и потом уедем на юг. Целую. Твой папочка». Ему хотелось, чтобы мы снова, как в прошлое лето, поехали вместе на «Холодную речку»,— но я не решилась... Мне хотелось провести август в Зубалове, с няней и с сыном,— и он обиделся...

Я поехала на юг повидать его позже, в ноябре 1948 года. Было солнечно и тепло, море, хоть и холодное, ласкало глаз. Цвели розы, можно было ходить без пальто... Отец был раздражен, назвал меня за столом при всех «дармоедкой», ругался, что из меня «все еще не вышло ничего путного». Все молчали, смущенные; молчала и я, не зная, что говорить.

На другой день он вдруг впервые заговорил со мной о маме. Мы были одни. На ноябрьские праздники, 9 ноября приходилась годовщина ее смерти. Это отравляло ему всегда эти праздники, и последние годы он проводил ноябрь на юге.

Мне было не по себе; я не знала, как говорить на эту тему с отцом,— я боялась ее. Мы сидели одни, был долгий завтрак — как всегда, много фруктов, хорошее вино. «И ведь вот такой плюгавенький пистолетик!» — сказал он вдруг в сердцах, и показал пальцами, какой маленький был пистолет. «Ведь — просто игрушка! Это Павлуша привез ей. Тоже, нашел что подарить!».

Он искал других виноватых. Ему хотелось найти причину и виновника, на кого бы переложить всю эту тяжесть. Тяжесть давила его все больше и больше. По-ви-

димому, с возрастом, мысль его все чаще возвращалась к маме. То вдруг он вспоминал, что мама дружила с Полиной Семеновной Жемчужиной и она «плохо влияла на нее»; то ругал последнюю книгу, прочитанную мамой незадолго до смерти, модную тогда «Зеленую Шляпу». Он не хотел думать об иных, серьезных причинах, делавших их совместную жизнь столь трудной для нее,— он искал непосредственного «повода» — как будто-бы в этом и было все дело...

Мне было очень трудно. Я чувствовала, что он впервые говорит со мной об этом как с равным, взрослым человеком,— но мне было бесконечно тягостно испытывать подобное доверие...

В тот ноябрь 1948 года мы возвращались в Москву вместе, поездом... У меня в купе был журнал «Искусство», я сидела и разглядывала репродукции. Вошел отец, заглянул в журнал. «Что это?» — спросил он. Это был Репин, рисунки, этюды. «А я этого никогда не видел...» — сказал он вдруг с такой грустью в голосе, что мне сделалось больно... Я представила себе на минуту, что случилось бы, если бы отец вдруг,— нет, в какой-нибудь специально отведенный для него лично, закрытый день пошел бы посмотреть Третьяковку,— что бы там творилось. Боже! И что бы творилось потом! Сколько бы беготни, суд-пересуд, болтовни нелепой... Должно быть, отец сам представлял, что это для него просто стало невозможным — как и многие другие невинные, доступные другим, развлечения. И он этого не делал. Или — он боялся. Не знаю. Он не боялся народа — никогда, и нелепо звучат сегодня лицемерные слова — «он не любил народа».

На станциях мы выходили гулять по перрону. Отец прогуливался до самого паровоза, приветствуя на ходу железнодорожников. Пассажиров не было видно; поезд был специальный, на перрон никто не выходил... Это было печально, зловеще, тоскливо. Кто придумывал все это? Кто изобретал все эти хитрости? Не он. Это была система, в которой он сам был узник, в которой он сам задыхался, от безлюдья, от одиночества, от пустоты.

Я приехала в Москву с тягостным чувством. Поезд остановили где-то не доезжая вокзала, в подмосковьи; туда подали машины — опять же, чтобы не ехать в город, где масса народа. Бегал и суетился генерал Власик,— ожиревший, опухший от важности и коньяка. Пыхтели и прочие, разжиревшие на тучных казенных харчах — генералы и полковники из охраны. Их ехал целый поезд — сви-

та, двор, прихлебатели. Отец скрежетал зубами, глядя на них, и не упускал случая, чтобы накинуться на них с какими-нибудь грубыми окриками. С прислугой он никогда не разговаривал в таком тоне.

Я поехала на кремлевскую квартиру,— он к себе, в Кунцево. Несколько дней я приходила в себя и отдыхала. Рядом с ним было трудно, затрачивалось огромное количество нервной энергии. Мы были очень далеки. Мы это понимали оба. Каждый жаждал уйти к себе домой — уединиться и отдохнуть друг от друга. Каждый был обижен. Каждый грустил и страдал — почему жизнь такая дурацкая? И каждый из нас обвинял в этом другого...

В конце 1948 года поднялась новая волна арестов. Попали в тюрьму мои тетки — вдова Павлуши, вдова Реденса. Попали в тюрьму и все их знакомые. Арестовали и отца моего первого мужа — старика И. Г. Морозова. Потом пошла кампания против «космополитов», и арестовали еще массу народа.

Арестовали и Полину Семеновну Жемчужину — не убоявшись нанести такой страшный удар Молотову. Арестовали А. Лозовского. Убили Михоэлса. Они все обвинялись в том, что входили в «сионистский центр».

«Сионисты подбросили и тебе твоего первого муженька»,— сказал мне некоторое время спустя отец. «Папа, да ведь молодежи это безразлично,— какой там сионизм?» — пыталась возразить я. «Нет! Ты не понимаешь! — сказал он резко — сионизмом заражено все старшее поколение, а они и молодежь учат...». Спорить было бесполезно.

Про теток моих он сказал, когда я спросила, в чем же их вина? — «Болтали много. Знали слишком много,— и болтали слишком много. А это на руку врагам...». Он был предельно ожесточен против всего мира.

Он всюду видел врагов. Это было уже патологией, это была мания преследования — от опустошения, от одиночества.

«У тебя тоже бывают антисоветские высказывания» — сказал он мне совершенно серьезно и зло... Я не стала ни возражать, ни спрашивать, откуда такие сведения...

Мне хотелось уйти из дома, хоть куда-нибудь. Весной, 1949 года, я окончила университет и вышла замуж за Юрия Андреевича Жданова. Мы с Оськой переехали жить на квартиру Ждановых в Кремле.

Отец был не так уж далек от истины: в доме Ждано-

вых было совсем не так легко и приятно, как это мне казалось со стороны. У нас в доме было тоскливо, пустынно, тихо, неуютно и было трудно жить, но при всем этом у нас отсутствовал мещанский дух.

В доме же, куда я попала, я столкнулась с сочетанием показной, формальной, ханжеской «партийности» с самым махровым «бабским» мещанством — сундуки, полные «добра», безвкусная обстановка сплошь из вазочек, салфеточек, копеечных натюрмортов на стенах. Царствовала в доме вдова, Зинаида Александровна Жданова, воплощавшая в себе как раз это соединение «партийного» ханжества с мещанским невежеством.

После нашего брака почему-то реже стала бывать молодежь, круг замкнулся в семье и стало нестерпимо, непроходимо скучно...

Эти годы — 1949-52 — были очень трудными для меня. Они были трудными и для всех: вся страна задыхалась, всем было невмоготу. В доме, где я жила теперь, властвовал дух ортодоксальной партийности,— но не той, которой придерживались мои дедушка и бабушка, моя мама, Сванидзе и другие старые партийцы. Здесь все было показное, надутое, внешнее.

Сам Юрий Андреевич, питомец университета, бывший там всегда любимцем молодежи, страдал от своей работы в ЦК,— он не знал, куда попал... Дома он бывал мало, приходил поздно (тогда было принято приходить с работы часов в одиннадцать ночи). У него были свои заботы и дела, и при врожденной сухости натуры он вообще не обращал внимания на мое состояние духа и печали. Дома он был в полном подчинении у маменьки, которую называл «мудрой совой», и шел в русле ее вкусов, привычек, суждений. Мне, с моим вольным воспитанием, очень скоро стало нечем дышать...

Я попросила разрешения, чтобы жила с нами моя няня — единственный родной и близкий мне человек,— но мне было заявлено, что «некультурной старухе совершенно нечего здесь делать, она только будет портить Осю». И няня осталась в Зубалове, где ее поместили в комнатке в служебном флигеле. Я ездила к ней в гости, мы с ней пили чай с вареньем, она рассказывала мне о своих болезнях, мы обсуждали наши общие дела... Раза два-три она приезжала ко мне в Успенское — где была дача Ждановых,— но ее там принимали, как дворничиху — только Оська кидался к «бабусе»,— и она скоро уезжала. К такому отношению она не привыкла,— ее везде, всю

жизнь считали членом семьи, и даже «буржуйки», то-есть ее дореволюционные хозяйки, были с ней ласковее, чем здешние. Самолюбие ее было уязвлено.

Отца я не видела очень, очень долго. Зиму 1949-50 года я тяжело болела — ждала ребенка и это проходило, в отличие от первого раза, ужасно трудно. Весной меня положили в больницу, и после полутора месяцев я, наконец, вернулась в Успенское с крошечной, слабенькой Катькой, совершенно измученная болезнью, одиночеством, сознанием неудачи второго брака, неприязнью к дому, где мне предстояло жить...

В больнице случилось так, что рядом со мной лежала в палате Светлана Молотова, которую я знала с детства. Она тоже родила девочку, и дня через два ее пришел навестить Вячеслав Михайлович — как это вообще полагается у нормальных родителей... Я была ужасно опечалена этим сопоставлением, нервы мои были до предела издерганы долгой болезнью, и я в тот вечер написала отцу письмо полное обиды... Я получила от него ответ; это было вообще его последнее письмо ко мне:

«Здравствуй, Светочка!

Твое письмо получил. Я очень рад, что ты так легко отделалась. Почки — дело серьезное. К тому же роды... Откуда ты взяла, что я совсем забросил тебя?! Приснится же такое человеку... Советую не верить снам. Береги себя. Береги дочку: государству нужны люди, в том числе и преждевременно родившиеся. Потерпи еще,— скоро увидимся. Целую мою Светочку.

Твой «папочка».
10 мая 1950 г.»

Я была рада письму,— я не особенно надеялась, что оно будет... Но мне было ужасно неуютно от мысли, что моя маленькая Катя, которая еще находилась между жизнью и смертью, уже «нужна государству»... И я, увы, хорошо понимала, что «скоро» мы не сможем увидеться...

Мы увиделись и немножко были опять вместе лишь будущим летом — 1951 года, когда он поехал отдыхать в Грузию, в Боржоми, и вызвал меня туда. Я пробыла там с ним недели две. Он отдыхал, и я видела как он наслаждался сладким воздухом Грузии, ветерком с Куры, пробегавшей рядом с Ликанским дворцом, где он остановился... Ему было уже семьдесят два года, но он очень бодро ходил своей стремительной походкой по парку, а за ним, отдуваясь, ковыляли толстые генералы охраны.

Иногда он менял направление, поворачивался кругом,— натыкался прямо на них,— тут его взрывало от злости и найдя любой маленький повод, он распекал первого попавшегося под руку...

Завтракал и обедал он,— как всегда летом,— в саду, где-нибудь под деревом. Он просил ловить в Куре свежую рыбу, вспоминал грузинские названия рыб и наслаждался воспоминаниями. Но это все — больше про себя, он вообще не любил говорить о чувствах,— «это для баб»... Вспомнил он только, что в этом самом Ликанском дворце останавливался с мамой, в 1922-м году, когда родился Василий, и они приехали в Грузию. Но не вдавался в подробности...

«Дворец» был старой охотничьей дачей какого-то князя, дурацкий, безвкусный, но — в очень красивой местности, в ущелье, где пробегала Кура. Один берег ее был обрывист, там громоздились скалы, а еще выше на скалах,— торчали развалины крепости, как это почти везде в Грузии. Другой берег был пологий, в небольшой горной долине был разбит полу-парк, полу-лес, и тут стоял дом. Генералы и коменданты чертыхались: для колоссальной свиты, сопровождавшей отца, дом был неудобен, так как мало было служебных помещений. Но отцу было удобно — как всегда, одному в целом доме.

Неприятной для отца была дорога сюда. Отец вообще не выносил вида толпы, рукоплескающей ему и орущей «ура»,— у него перекашивалось лицо от раздражения. На вокзале в Кутаиси земляки-грузины устроили ему такой прием, что долго нельзя было выйти из вагона, невозможно было сесть в машину и ехать... Люди бросались чуть ли не под колеса, лезли, кричали, кидали цветы, поднимали детей над головой. Это было здесь неподдельно, искренне и от самого чистого сердца, но отец от этого раздражался. Он уже привык к тому, что вокзал — пуст, когда он приезжает, что дорога — пуста, когда он едет; он привык, чтобы не бросались к нему с криками в машину, он забыл о неподдельности чувства...

Поэтому он только раз потом попробовал выехать из Боржоми в сторону Бакуриани, но вернулся с полдороги домой... В первой же деревне дорогу устлали коврами, все жители вышли на шоссе, машину остановили... Пришлось выйти, сесть за стол... Слава Богу, все это было без меня,— я бы сгорела от стыда в подобной ситуации. Мне всегда бывало ужасно стыдно даже от скромных «ликований» у нас в Москве, в Большом театре или на банке-

тах в честь семидесятилетия отца. Мне становилось страшно, что отец вот сейчас скажет что-нибудь такое, что сразу всех охладит,— я видела как его передергивает от раздражения. «Разинут рты и орут, как болваны!...» — говорил он со злостью. Может быть, он угадывал лицемерность этого ликования? Он был поразительно чуток к лицемерию, перед ним невозможно было лгать... А может быть, он был уже настолько опустошен, что не верил в добрые, искренние чувства людей,— даже здесь, в Грузии, где простых крестьян невозможно было заподозрить в лицемерной радости.

Очевидно, Грузия решила показать, что она не подвластна московскому МГБ и его порядкам, и что здесь народ выражает свои чувства, как хочет. Но это лишило отца возможности проехать в Тбилиси и в Гори, как бы ему наверное хотелось. И он сидел в Боржоми, как пленник собственной славы, и не мог выйти за пределы территории дворца...

Я уехала в Москву раньше, он возвратился только поздней осенью. По дороге из Боржоми мы с Василием заехали посмотреть Гори,— и тут я вдруг почувствовала, что это родная мне земля — крошечная долина в излучине Куры, огибающей плоский холм с крепостью на нем, городок у подножья холма, и кругом — сады, солнце, виноградники, серебряная Кура, спокойная и мелкая здесь. А вокруг всего этого — горы. Они сходятся в ущелье, где стоит село Атени, с его чудесным вином золотого цвета, а в ущелье — атенская церковь классической грузинской архитектуры, с фресками XI-го века.

Что-то перевернулось у меня в душе, когда я увидела эту церковь среди виноградников, этот городок среди персиковых и грушевых садов, эту маленькую чашу щедрой земли, над которой — купол синего неба и столько солнца, как нигде больше на земле... К сожалению, наша поездка была совершенно отравлена официальными почестями и осмотром «музея Сталина», и его домика. Домик этот — лачужка, где жила семья сапожника, по инициативе Берия был накрыт сверху, как крышкой, мраморным павильоном, похожим на небольшую станцию метро. Под этим мраморным балдахином с трудом можно было разглядеть крошечную хибарку, которая так и стояла бы сама по себе и говорила бы сама за себя без мрамора... Там нам каждую вещь демонстрировали как святыню, с благоговейной дрожью. Это вызывало чувство мучительного стыда и желание поскорее уйти.

В ту осень в Грузии я думала о своей бабушке Екатерине. Она похоронена рядом с Грибоедовым на Давидовой горе в Тбилиси, возле церкви св. Давида. Там покой и красота, ничем не испорченные, ничем не опошленные.

Я вспомнила как в 1934 году Яшу, Василия и меня послали навестить бабушку в Тбилиси,— она болела тогда...

Возможно, что инициатором поездки был Берия — мы останавливались у него в доме. Около недели мы провели тогда в Тбилиси,— и полчаса были у бабушки... Она жила в каком-то старом, красивом дворце с парком; она занимала темную низкую комнатку с маленькими окнами во двор. В углу стояла железная кровать, ширма, в комнате было полно старух — все в черном, как полагается в Грузии. На кровати сидела старая женщина. Нас подвели к ней, она порывисто нас всех обнимала худыми, узловатыми руками, целовала и говорила что-то по-грузински... Понимал один Яша, и отвечал ей,— а мы стояли молча.

Я заметила, что глаза у нее — светлые, на бледном лице, покрытом веснушками, и руки покрыты тоже сплошь веснушками. Голова была повязана платком, но я знала,— это говорил отец,— что бабушка была в молодости рыжей, что считается в Грузии красивым. Все старухи — бабушкины приятельницы, сидевшие в комнате, целовали нас по-очереди и все говорили, что я очень похожа на бабушку. Она угощала нас леденцами на тарелочке, протягивая ее рукой, и по лицу ее текли слезы. Но общаться нам было невозможно,— мы говорили на разных языках. С нами пришла жена Берия — Нина. Она сидела возле бабушки и о чем-то беседовала с ней, и обе они, должно быть, глубоко презирали одна другую...

В комнате было полно народу, лезшего полюбопытствовать; пахло какими-то травками, которые связочками лежали на подоконниках. Мы скоро ушли и больше не ходили во «дворец»,— и я все удивлялась, почему бабушка так плохо живет? Такую страшную черную железную кровать я видела вообще впервые в жизни.

У бабушки были свои принципы,— принципы религиозного человека, прожившего строгую, тяжелую, честную и достойную жизнь. Ее твердость, упрямство, ее строгость к себе, ее пуританская мораль, ее суровый мужественный характер,— все это перешло к отцу.

Стоя у ее могилы, вспоминая всю ее жизнь, разве можно не думать о Боге, в которого она так верила?

18

Когда мне приходится теперь, в наши дни, читать и слышать, что мой отец при жизни сам себя считал чуть ли не богом,— мне кажется очень странным, что это могут утверждать люди, близко знавшие его... Отец, правда, особым демократизмом в жизни никогда не отличался, но богом он себя не воображал...

В последнее время он жил особенно уединенно; поездка на юг осенью 1951 года была последней. Больше он не выезжал из Москвы, и почти все время находился в Кунцево, которое все перестраивали и перестраивали. В последние годы, рядом с большим домом, выстроили маленький деревянный дом,— там лучше был воздух; в комнате с камином отец часто и проводил дни. Никакой роскоши там не было,— только деревянные панели на стенах, и хороший ковер на полу были дорогими.

Все подарки, присылавшиеся ему со всех концов земли, он велел собрать и передать в музей,— это не из ханжества, не из позы,— как многие утверждают,— а оттого, что он в самом деле не знал, что ему делать со всем этим изобилием дорогих и даже драгоценных вещей — картин, фарфора, мебели, оружия, утвари, одежды, национальных изделий,— он не знал, зачем это все ему...

Изредка он что-либо отдавал мне — национальный румынский или болгарский костюм, но вообще, даже то, что присылалось для меня, он считал недопустимым использовать в быту. Он понимал, что чувства, которые вкладывались в эти вещи, были символическими и считал, что и относиться к этим вещам следует, как к символам. В 1950 открыли в Москве «Музей подарков», и мне часто приходилось слышать от знакомых дам (при жизни отца, да и после его смерти): — «Ах, там был такой чудесный гарнитур! А какая радиола! Неужели вам не могли этого отдать!» Нет, не могли!

После возвращения из Грузии я видела отца всего два раза. Я уже говорила о том, как в годовщину октября осенью 1952 года я поехала к нему на дачу со своими детьми.

И потом я была у него 21 декабря 1952 года, в день, когда ему исполнилось семьдесят три года. Тогда я и видела его в последний раз.

Он плохо выглядел в тот день [1]. По-видимому он чувствовал признаки болезни, может быть, гипертонии — так как неожиданно бросил курить, и очень гордился этим — курил он, наверное, не меньше пятидесяти лет. Очевидно, он ощущал повышенное давление, но врачей не было. Виноградов был арестован, а больше он никому не доверял и никого не подпускал к себе близко. Он принимал сам какие-то пилюли, капал в стакан с водой несколько капель иода,— откуда-то брал он сам эти фельдшерские рецепты; но он сам же делал недопустимое: через два месяца, за сутки до удара, он был в бане (построенной у него на даче в отдельном домике) и парился там, по своей старой сибирской привычке. Ни один врач не разрешил бы этого, но врачей не было...

«Дело врачей» происходило в последнюю зиму его жизни. Валентина Васильевна рассказывала мне позже, что отец был очень огорчен оборотом событий. Она слышала, как это обсуждалось за столом, во время обеда. Она подавала на стол, как всегда. Отец говорил, что не верит в их «нечестность», что этого не может быть,— ведь «доказательством» служили доносы доктора Тимашук,— все присутствующие, как обычно в таких случаях, лишь молчали...

Валентина Васильевна очень пристрастна. Она не хочет, чтобы на отца падала хоть какая-нибудь тень. И все-таки, надо слушать, что она рассказывает и извлекать из этих рассказов какие-то здравые крупицы,— так как она была в доме отца последние восемнадцать лет, а я у него бывала редко.

Меня многие осуждали за это. Мне говорили: — «Ну, что ты не поедешь к отцу? Позвони, спроси; скажет — нельзя — попозже позвони, когда-нибудь он найдет время».

Быть может, это справедливо. Быть может, я была слишком щепетильна. Но когда он отвечал мне злым, раздраженным голосом — «я занят» и бросал трубку телефона, то я после этого уже, целые месяцы, долго не могла собраться с духом и позвонить.

И вот я у него последний раз,— но я ведь не знала, что это — последний раз. Обычное застолье, обычные лица [2],

---

[1] Наверное, в связи с болезнью он дважды, после 19 съезда (октябрь 1952), заявлял в ЦК о своем желании уйти в отставку. Этот факт хорошо известен составу ЦК, избранному на 19 съезде.

[2] В самое последнее время обычными лицами были: Берия, Маленков, Булганин и Микоян. Появлялся и Хрущев. С 1949-го года,

привычные разговоры, остроты, шутки многолетней давности. Странно — отец не курит. Странно — у него красный цвет лица, хотя он обычно всегда был бледен (очевидно, было уже сильно повышенное давление). Но он, как всегда, пьет маленькими глотками грузинское вино — слабое, легкое, ароматное.

Странно все в комнате — эти дурацкие портреты писателей на стенах, эти «Запорожцы», эти детские фотографии из журналов... А, впрочем,— что странного, захотелось человеку, чтобы стены не были голыми: а повесить хоть одну из тысяч дарившихся ему картин, он не считал возможным. Правда, в углу комнаты висит в раме китайская вышивка,— яркий огромный тигр,— но она висит там еще с довоенных времен, это уже привычно.

Застолье было обычным,— ничего нового. Как будто мир вокруг не существует. Неужели все эти, сидящие здесь люди, еще сегодня утром не узнали что-нибудь свежего и интересного со всех концов мира? Ведь они же располагают информацией, как никто иной, но похоже, что не располагают.

Когда я уходила, отец отозвал меня в сторону, и дал мне деньги. Он стал делать так в последние годы, после реформы 1947 года, отменившей бесплатное содержание семей Политбюро. До тех пор я существовала вообще без денег, если не считать университетскую стипендию, и вечно занимала у своих «богатых» нянюшек, получавших изрядную зарплату.

После 1947 года отец иногда спрашивал в наши редкие встречи: «Тебе нужны деньги?»— на что я отвечала всегда «нет».— «Врешь ты,— говорил он,— сколько тебе нужно?» Я не знала, что сказать. А он не знал ни счета современным деньгам, ни вообще сколько что стоит,— он жил своим дореволюционным представлением, что сто рублей — это колоссальная сумма. И когда он давал мне две-три тысячи рублей,— неведомо, на месяц, на полгода, или на две недели,— то считал, что дает миллион...

Вся его зарплата ежемесячно складывалась в пакетах у него на столе. Я не знаю, была ли у него сберегатель-

---

после ареста его жены, Молотов был фактически не у дел, и его даже в дни болезни отца не позвали. Надо сказать, что в это самое последнее время даже давнишние приближенные отца были в опале: неизменный Власик сел в тюрьму зимой 1952 года, и тогда же был отстранен его личный секретарь Поскребышев, служивший ему около 20 лет.

ная книжка,— наверное нет. Денег он сам не тратил, их некуда и не на что было ему тратить. Весь его быт, дачи, дома, прислуга, питание, одежда,— все это оплачивалось государством, для чего существовало специальное управление где-то в системе МГБ, а там — своя бухгалтерия, и неизвестно сколько они тратили... Он и сам этого не знал. Иногда он набрасывался на своих комендантов и генералов из охраны, на Власика, с бранью: «Дармоеды! Наживаетесь здесь, знаю я, сколько денег у вас сквозь сито протекает!» Но он ничего не *знал,* он только интуитивно чувствовал, что улетают огромные средства... Он пытался как-то провести ревизию своему хозяйству, но из этого ничего не вышло — ему подсунули какие-то выдуманные цифры. Он пришел в ярость, но так ничего и не мог узнать. При своей всевластности он был бессилен, беспомощен против ужасающей системы, выросшей вокруг него как гигантские соты,— он не мог ни сломать ее, ни хотя бы проконтролировать... Генерал Власик распоряжался миллионами от его имени, на строительство, на поездки огромных специальных поездов,— но отец не мог даже толком выяснить где, сколько, кому...

Он понимал, что, должно быть, мне все-таки нужны деньги. Последнее время я училась в аспирантуре Академии общественных наук, где была большая стипендия, так что я была сравнительно обеспечена. Но отец, все-таки, изредка давал мне деньги и говорил: «А это дашь Яшиной дочке»...

В ту зиму он сделал много для меня. Я тогда развелась со своим вторым мужем и ушла из семьи Ждановых. Отец разрешил мне жить в городе, а не в Кремле — мне дали квартиру, в которой я живу с детьми по сей день. Но он оговорил это право по своему — хорошо, ты хочешь жить самостоятельно, тогда ты не будешь больше пользоваться ни казенной машиной, ни казенной дачей. «Вот тебе деньги — купи себе машину и езди сама, а твои шоферские права покажешь мне»,— сказал он. Меня это вполне устраивало. Это давало мне некоторую свободу и возможность нормально общаться с людьми,— живя снова в Кремле, в нашей старой квартире, это было бы невозможно.

Отец не возражал, когда я сказала, что ухожу от Ждановых.— «Делай, как хочешь» — ответил он. Но он был недоволен разводом, это было ему не по сердцу...

«Дармоедкой живешь, на всем готовом?» — спросил он как-то в раздражении. И, узнав, что я плачу за свои

готовые обеды из столовой, несколько успокоился. Когда я переехала в город, в свою квартиру,— он был доволен: хватит бесплатного жительства... Вообще, никто так упорно, как он, не старался прививать своим детям мысль о необходимости жить на свои средства. «Дачи, казенные квартиры, машины,— все это тебе не принадлежит, не считай это своим» — часто повторял он...

Он и сейчас, в последний раз дал мне пакет с деньгами, и напомнил: «А это — отдай Яшиной дочке».

Я уехала. Я хотела приехать еще раз в воскресенье 1-го марта,— но не смогла дозвониться. Система была сложной,— надо было сперва звонить к «ответственному дежурному» из охраны, который говорил, «есть движение» или «движения пока нет»,— что означало, что отец спит, или читает в комнате, а не передвигается по дому. Когда «не было движения», то и звонить не следовало; а отец мог спать среди дня в любое время,— режим его был весь перевернут.

А на утро 2-го марта 1953 меня вызвали с занятий в Академии и велели ехать в Кунцево... Я уже это все описала. Я с этого начала.

Но это не конец. Я еще не хочу кончать мои письма.

19

Моего брата Василия тоже вызвали 2-го марта 1953 года. Он тоже сидел несколько часов в этом большом зале, полном народа, но он был, как обычно в последнее время, пьян, и скоро ушел. В служебном доме он еще пил, шумел, разносил врачей, кричал, что «отца убили», «убивают»,— пока не уехал наконец к себе.

Он был в это время слушателем Академии генштаба, куда его заставил поступить отец, возмущавшийся его невежеством. Но он не учился. Он уже не мог,— он был совсем больной человек — алкоголик.

Его судьба трагична. Он был «продуктом» и жертвой той самой среды, системы, машины, которая породила, взращивала. и вбивала в головы людей *«культ личности»*, благодаря которому он и смог сделать свою стремительную карьеру. Василий начал войну двадцатилетним капитаном и окончил ее двадцатичетырехлетним генерал-лейтенантом...

Его тащили за уши наверх, не считаясь ни с его силами, ни со способностями, ни с недостатками,— думали «угодить» отцу. В 1947 году он вернулся из Восточной Германии в Москву и его сделали командующим авиацией Московского военного округа,— несмотря на то что, будучи алкоголиком, он сам даже уже не мог летать. С этим никто не считался тогда. Отец видел его состояние, ругал его беспощадно, унижал и бранил при всех, как мальчишку,— это не помогало, потому что с болезнью надо было бороться иначе, а этого Василий не желал, и никто не осмеливался ему это предложить... Отец был для него единственным авторитетом,— остальных он вообще не считал людьми, сто́ящими внимания. Какие-то темные люди — футболисты, массажисты, спортивные тренеры и «боссы» толкались вокруг него, подбивая его на разные аферы, на ма́хинации с футбольными и хоккейными командами, на строительство за казенный счет каких-то сооружений, бассейнов, дворцов культуры и спорта... Он не считался с казной, ему было дано право распоряжаться в округе огромными суммами, а он не знал цены деньгам.

Жил он в своей огромной казенной даче, где развел

колоссальное хозяйство, псарню, конюшню... Ему все давали, все разрешали — Власик стремился ему угодить, чтобы Василий смог в должную минуту выгородить его перед отцом. Он позволял себе все: пользуясь близостью к отцу, убирал немилых ему людей с дороги, кое-кого посадил в тюрьму. Ему покровительствовали и куда более важные лица [1], чем Власик,— им вертели как марионеткой, ему давали ордена, погоны, автомобили, лошадей,— его портили и развращали,— *пока он был нужен.* Но, когда после смерти отца он перестал быть нужен — его бросили, и забыли...

С Московского округа его снял еще отец, летом 1952 года. 1 мая 1952 года командование запретило пролет авиации через Красную площадь, так как было пасмурно и ветрено,— но Василий распорядился сам, и авиация прошла,— плохо, вразброс, чуть ли не задевая шпили исторического музея... А на посадке несколько самолетов разбилось... Это было неслыханное нарушение приказа командования, имевшее трагические последствия. Отец сам подписал приказ о снятии Василия с командования авиацией Московского округа.

Куда было деваться генерал-лейтенанту? Отец хотел, чтобы он закончил Академию генштаба, как это сделал Артем Сергеев (старый товарищ Василия с детских лет, с которым он давно уже раздружился). «Мне семьдесят лет,— говорил ему отец,— а я все учусь» — и указывал на книги, которые он читал — история, военное дело, литература... Василий согласился, поступил в Академию, но не был там ни разу,— он *не мог.* Его надо было срочно положить в больницу и лечить, лечить от алкоголизма, пока еще не поздно,— но он сам не желал, а кто же будет лечить насильно генерала? Да еще такого генерала?

Он сидел на даче и пил. Ему не надо было много пить. Выпив глоток водки, он валился на диван и засыпал. В таком состоянии он находился все время. Смерть отца потрясла его. Он был в ужасе,— он был уверен, что отца «отравили», «убили»; он видел, что рушится мир, без которого ему существовать будет невозможно.

В дни похорон он был в ужасном состоянии и вел себя соответственно,— на всех бросался с упреками, обвинял правительство, врачей, всех, кого возможно,— что не так лечили, не так хоронили... Он утратил представление о

[1] Берия, Абакумов, Булганин.

реальном мире, о своем месте,— он ощущал себя наследным принцем.

Его вызвали к министру обороны [1], предложили утихомириться. Предложили работу — ехать командовать в один из округов. Он наотрез отказался,— только Москва, только авиация Московского округа,— не меньше! Тогда ему просто предъявили приказ: куда-то ехать и работать там. Он отказался. Как,— сказали ему,— вы не подчиняетесь приказу министра? Вы, что же, не считаете себя в армии? — Да, не считаю, ответил он.— Тогда снимайте погоны — сказал министр в сердцах. И он ушел из армии. И теперь уже сидел дома и пил,— генерал в отставке.

Свою третью жену он выгнал. Вторая жена, которую он снова привел в дом, теперь ушла от него сама. Он был невозможен. И он остался совершенно один, без работы, без друзей, никому не нужный алкоголик...

Тогда он совсем потерял голову. Апрель 1953 года он провел в ресторанах, пил с кем попало, сам не помнил, что говорил. Поносил все и вся. Его предупреждали, что это может кончиться плохо, он на все и на всех плевал,— он забыл, что времена не те, и что он уже не та фигура... После попойки с какими-то иностранцами, его арестовали 28 апреля 1953 года.

Началось следствие. Выплыли аферы, растраты, использование служебного положения и власти сверх всякой меры. Выплыли случаи рукоприкладства при исполнении служебных обязанностей. Обнаружились интриги на весьма высоком уровне, в результате которых кто попал в тюрьму, а кто погиб...

Вернули генерала авиации А. А. Новикова, попавшего в тюрьму с легкой руки Василия... Теперь все были против него. Теперь уж его никто не защищал, только подливали масла в огонь... На него «показывали» все — от его же адъютантов, до начальников штаба, до самого министра обороны и генералов, с которыми он не ладил... Накопилось столько обвинений, что хватило бы на десятерых обвиняемых...

Военная коллегия дала ему восемь лет тюрьмы. Он не мог поверить. Он писал в правительство письма полные отчаяния, с признанием всех обвинений, и даже с угрозами. Он забывал, что он уже ничто и никто...

Над ним сжалились. Зимой 1954-55 года он болел и его перевели в тюремный госпиталь. Оттуда должны были отправить его в больницу, потом — в санаторий

[1] Тогда это был Булганин.

«Барвиха», а затем уже домой на дачу. Мне сказал об этом Н. С. Хрущев, вызвавший меня к себе в декабре 1954 года — он искал решения, как вернуть Василия к нормальной жизни.

Но все вышло иначе. В госпитале его стали навещать старые дружки,— спортсмены, футболисты, тренеры; приехали какие-то грузины, привезли бутылки. Он опять сошел с рельс,— забыв про обещания, он снова шумел, снова угрожал, требовал невозможного... В результате, из госпиталя он попал не домой, а во Владимирскую тюрьму. Приговор военной коллегии оставили в силе.

Во Владимир я ездила навещать его вместе с его третьей женой, Капитолиной Васильевой, от всего сердца пытавшейся помочь ему.

Этого мучительного свидания я не забуду никогда. Мы встретились в кабинете у начальника тюрьмы. На стене висел,— еще с прежних времен,— огромный портрет отца. Под портретом сидел за своим письменным столом начальник, а мы — перед ним, на диване. Мы разговаривали, а начальник временами бросал на нас украдкой взгляд; в голове его туго что-то ворочалось и должно быть он пытался осмыслить: что же это такое происходит?..

Начальник был маленького роста, белобрысый, в стоптанных и латанных валенках. Кабинет его был темным и унылым — перед ним сидели две столичных дамы в дорогих шубах, и Василий... Начальник мучился, на лице его отражалось умственное усилие...

Василий требовал от нас с Капитолиной ходить, звонить, говорить где только возможно о нем, вызволять его отсюда любой ценой. Он был в отчаянии, и не скрывал этого. Он метался, ища, кого бы просить? Кому бы написать? Он писал письма всем членам правительства, вспоминал общие встречи, обещал, уверял, что он все понял, что он будет другим...

Капитолина, мужественная, сильная духом женщина, говорила ему: не пиши никуда, потерпи, недолго осталось, веди себя достойно. Он набросился на нее — «Я тебя прошу о помощи, а ты мне советуешь молчать!».

Потом он говорил со мной, называл имена лиц, к которым, как он полагал, можно обратиться. «Но ведь ты же сам можешь писать кому угодно!» — говорила я. «Ведь твое собственное слово куда важнее, чем то, что я буду говорить».

После этого он прислал мне еще несколько писем,

с просьбой писать, просить, убеждать... Была у него даже идея связаться с китайцами,— «они мне помогут!» — говорил он не без основания... Мы с Капитолиной, конечно, никуда не ходили и не писали... Я знала, что Хрущев сам стремится помочь ему.

Во Владимире Василий пробыл до января 1960 года. В январе 1960 года, меня снова вызвал Хрущев. Был план, — не знаю кем придуманный,— предложить Василию жить где-нибудь не в Москве, работать там, вызвать семью, сменить фамилию на менее громкую. Я сказала, что, по-моему, он не пойдет на это. Я все время стремилась доказать, что его алкоголизм болезнь, что он не может отвечать за все свои слова и поступки подобно здоровому человеку,— но это не убеждало. Вскоре после этого Н. С. Хрущев вызвал Василия, и говорил с ним больше часа. Прошло почти семь лет со дня его ареста... Василий потом говорил, что Хрущев принял его «как отец родной». Они расцеловались и оба плакали. Все кончилось хорошо: Василий оставался жить в Москве. Ему дали квартиру на Фрунзенской набережной, и дачу в Жуковке, — недалеко от моей. Генеральское звание и пенсия, машина, партийный билет — без перерыва стажа,— все это было ему возвращено вместе со всеми его боевыми орденами. Его просили лишь об одном: найти себе какое-нибудь занятие и жить тихо и спокойно, не мешая другим и самому себе. И еще просили не ездить в Грузию,— Василий с первого же слова просил отпустить его туда...

Январь, февраль, март — он жил в Москве, и быстро почувствовал себя снова тем, чем был и раньше. Вокруг него немедленно собрались какие-то люди из Грузии,— затаскивали его в «Арагви», пили с ним, славословили, курили ему фимиам... Опять он почувствовал себя «наследным принцем»... Его звали в Грузию,— вот там он будет жить! Разве это — квартира? Разве это — мебель? Стыд и позор — ему, ему, давать такую мебель! Там ему построят дачу под Сухуми, там он будет жить, как ему подобает... Нашлась немолодая грузинка, которая немедленно предложила ему жениться на ней и ехать с ней в Сухуми.

Его дети — уже большие тогда юноша и девушка,— отговаривали его, умоляли выгнать всех этих грузин вон — предупреждали, что опять это плохо кончится. Он отвечал, что сам знает, не им его учить... Он опять пил, он не в состоянии был сам удержаться, а дружки, и особенно грузины, поили его беспощадно...

Наконец, в апреле он уехал «лечиться» в Кисловодск; его дочь Надя поехала с ним, и писала оттуда, что опять сплошные попойки, что он ведет себя шумно, скандально, всем грозит и всех учит, что посмотреть на него сбегается весь Кисловодск. Из Грузии приехали опять какие-то проходимцы на машинах,— звали его с собой. Он не поехал с ними, но куда-то исчез, и через пять дней появился,— оказывается, он пропадал здесь же в домике у какой-то стрелочницы...

Когда он возвратился в Москву, то пробыл дома недолго. В конце апреля мы все узнали, что он опять «продолжает свой срок» — те самые восемь лет, которые ему так милостиво разрешили прервать, чтобы начать новую жизнь... А теперь его «попросили» досидеть срок до конца,— поскольку на свободе он не вел себя должным образом.

Срок окончился не полностью; весной 1961 года его все-таки отпустили из лефортовской тюрьмы по состоянию здоровья. У него были больная печень, язва желудка и полное истощение всего организма — он всю жизнь ничего не ел, а только заливал свой желудок водкой...

Его отпустили снова, но уже на более жестких условиях... Ему разрешили жить, где он захочет,— только не в Москве (и не в Грузии...). Он выбрал почему-то Казань и уехал туда со случайной женщиной, медсестрой Машей, оказавшейся возле него в больнице...

В Казани ему дали однокомнатную квартиру, он получал пенсию, как генерал в отставке,— но он был совершенно сломлен и физически и духовно. 19 марта 1962 года он умер, не приходя сутки в сознание после попойки с какими-то грузинами. Вскрытие обнаружило полнейшее разрушение организма алкоголем. Ему был лишь сорок один год.

Его сын и дочь (от первого брака) ездили на похороны вместе с его третьей женой Капитолиной, единственным его другом.

На похороны собралась чуть ли не вся Казань... На детей и Капитолину смотрели с удивлением,— медсестра Маша, незаконно успевшая зарегистрировать с ним брак, уверила всех, что она-то и была всю жизнь его «верной подругой»... Она еле подпустила к гробу детей.

В Казани стоит сейчас на кладбище могила генерала В. И. Джугашвили, с претенциозной надписью, сделанной Машей,— «Единственному».

20

Ты уже устал, наверное, друг мой, от бесконечных смертей, о которых я тебе рассказываю... Действительно, была ли хоть одна, благополучная судьба? Вокруг отца как будто очерчен черный круг,— все, попадающие в его пределы, гибнут, разрушаются, исчезают из жизни...

Но вот уже десять лет, как и его самого не стало. Возвратились из тюрьмы мои тетки — Евгения Александровна Аллилуева, вдова дяди Павлуши, и Анна Сергеевна Аллилуева, вдова Реденса, мамина сестра. Вернулся из казахстанской ссылки сын Сванидзе — мой ровесник. Вернулись многие — тысячи и тысячи людей, кто уцелел, кто остался в живых. Эти возвращения — великий исторический поворот для всей страны,— масштабы этого возвращения людей к жизни трудно себе вообразить...

В значительной степени и моя собственная жизнь сделалась нормальной только теперь: разве могла бы я раньше жить так свободно, передвигаться без спроса, встречаться с кем хочу? Разве могли бы мои дети раньше существовать так свободно и вне докучливого надзора, как живут они сейчас? Все вздохнули свободнее, отведена тяжелая, каменная плита, давившая всех. Но, к сожалению, слишком многое осталось без изменения,— слишком инертна и традиционна Россия, вековые привычки ее слишком крепки.

Но еще больше, чем дурного, есть у России неизменно доброго, и этим-то вечным добром, быть может, и держится она, и сохраняет свой лик...

Всю жизнь мою была рядом со мною моя няня Александра Андреевна. Если бы эта огромная, добрая печь не грела меня своим ровным постоянным теплом,— может быть, давно бы я уже сошла с ума. И смерть няни, или «бабуси», как мои дети и я звали ее, была для меня первой утратой действительно близкого, в самом деле глубоко родного, любимого, и любившего меня, человека.

Умерла она в 1956 году, дождавшись возвращения из тюрьмы моих теток, пережив моего отца, дедушку, бабушку. Она была членом нашей семьи более, чем кто-нибудь иной. За год до ее смерти справили ее семидесятилетие,— это был добрый веселый праздник, объединив-

ший даже всех моих, вечно враждовавших между собою, родственников — ее все любили, она всех любила, каждый желал сказать ей доброе слово.

Бабуся была для меня не только няней еще и потому, что ее природные качества и таланты, которые судьба не дала ей развить, простирались далеко за рамки обязанностей няни.

Александра Андреевна была родом из Рязанской губернии; деревня их принадлежала помещице Марии Александровне Бер. В этот дом попала в услужение и тринадцатилетняя Саша. Бер были в родстве с Герингами, а у Герингов служила нянина тетка Анна Дмитриевна, вырастившая праправнуков Пушкина, с которыми до последнего времени она жила в писательском доме на Плотниковом переулке. В этих двух семьях и у их родственников в Петербурге жила моя бабуся — в горничных, в поварихах, в экономках и, наконец, няней. Долгое время жила она в семье Николая Николаевича Евреинова, известного театроведа и режиссера, и нянчила его сына. На фотографиях тех лет — бабуся прехорошенькая столичная служанка с высокой прической и стоячим воротничком,— ничего деревенского в ней не осталось.

Она была очень смышленная, сообразительная девушка и легко усваивала то, что видела вокруг себя. Либеральные интеллигентные хозяйки научили ее не только одеваться и хорошо причесываться. Ее также научили читать книги, ей открыли мир русской литературы.

Она читала книги не так, как читают образованные люди — для нее герои были живыми людьми, для нее все о чем написано, было — правда. Это не был вымысел — она ни минуты не сомневалась, что «Бедные люди» *были,* как была бабушка Горького...

Раз как-то Горький приезжал к отцу в гости в Зубалово,— в 1930-м году, еще при маме. Бабуся моя выглядывала в переднюю через щелку приоткрытой двери, и ее вытащил за руку Ворошилов, которому она объяснила, что «очень хочется на Горького посмотреть». Алексей Максимович спросил ее, что она читала из его книг и был удивлен, когда она перечислила почти все... «Ну, а что же вам больше всего понравилось?» — спросил он.— «Ваш рассказ, как вы у женщины роды принимали»,— ответила бабуся. Это была правда, рассказ «Рождение человека» поразил ее больше всего... Горький был очень доволен и пожал ей с чувством руку,— а она была счастлива на всю жизнь и любила потом рассказывать об этом.

Видела она у нас в доме и Демьяна Бедного, но както не восторгалась его стихами, а говорила только, что он был «большой безобразник»...

В доме Евреиновых она жила до революции, после которой Евреиновы вскоре уехали в Париж. Ее очень звали с собой, но она не захотела уезжать. У нее было два сына,— младший умер в голодные двадцатые годы в деревне. Несколько лет ей пришлось прожить в своей деревне, которую она терпеть не могла и ругала с чувством уже привычной горожанки. Для нее это была «грязь, грязь и грязь», ее теперь ужасали суеверия, некультурность, невежество, дикость и, хотя она великолепно знала все виды деревенской работы, ей это все стало неинтересно. Земля ее не тянула, и потом ей хотелось «выучить сына», а для этого надо было зарабатывать в городе...

Она приехала в Москву, которую презирала всю жизнь; привыкнув к Петербургу, она уже не могла его разлюбить. Я помню как она радовалась, когда я впервые поехала в 1955 году в Ленинград. Она называла мне все улицы, где жила и где в булочную ходила, и где «с колясочкой сидела», и где на Неве в садке «живую рыбу брала». Я привезла ей из Ленинграда кипу открыток с видами улиц, проспектов, набережных. Мы разглядывали их с ней вместе и она все умилялась, все вспоминала... «А Москва-то прямо деревня, деревня по сравнению с Ленинградом, и никогда не сравняется, как ее ни перестраивай!» — все повторяла она.

В двадцатые годы, однако, ей пришлось жить в Москве, сначала в семье Самариных, а потом — доктора Малкина, откуда ее как-то уж переманила моя мама, весной 1926 года по причине моего рождения.

В нашем доме она обожала троих людей. Прежде всего — маму, которую, несмотря на ее молодость очень уважала — маме было 25 лет, а бабусе уже сорок один, когда она пришла к нам... Потом она обожала Н. И. Бухарина, которого любили вообще все,— он жил у нас в Зубалове каждое лето со своей женой и дочерью. И еще бабуся обожала дедушку нашего Сергея Яковлевича. Дух нашего дома,— тогда, при маме,— был ей близок и мил.

У бабуси была великолепная петербургская школа и выучка,— она была предельно деликатна со всеми в доме, гостеприимна, радушна, быстро и толково делала свое дело, не лезла в дела хозяев, уважала их всех равно и никогда не позволяла себе судачить или критиковать

вслух дела и жизнь «господского дома». Она никогда не ссорилась ни с кем, поразительно умея всем сделать какое-нибудь добро, и только гувернантка моя, Лидия Георгиевна, сделала попытку выжить бабусю, но поплатилась за это сама. Бабусю даже отец уважал и ценил.

Бабуся читала мне вслух мои первые детские книжки. Она же была первым учителем грамоты — и моим, и моих детей — у нее был чудесный талант всему учить весело, легко, играя. Должно быть, что-то она усвоила от хороших гувернанток, с которыми ей приходилось раньше жить бок-о-бок. Я помню, как она учила меня счету: были слеплены шарики из глины и покрашены в разные цвета. Мы их раскладывали на кучки, соединяли, разъединяли, и таким образом она научила меня четырем действиям арифметики,— еще до появления в нашем доме учительницы Наталии Константиновны. Потом она водила меня на занятия дошкольной музыкальной группы в доме у Ломовых. Должно быть, оттуда она переняла музыкальную игру: мы садились с ней за стол и она, обладая природным слухом, выстукивала мне пальцами на столе ритм какой-нибудь знакомой песенки, а я должна была угадать — какой. Потом то же делала я,— а она угадывала. А сколько она пела мне песен, как чудно и весело она это делала, сколько она знала детских сказок, частушек, всяких деревенских прибауток, народных песен, романсов... Все это лилось и сыпалось из нее, как из рога изобилия, и слушать ее было неслыханное удовольствие...

Язык ее был великолепен... Она так красиво, так чисто, правильно и четко говорила по-русски, как теперь редко где услышишь... У нее было какое-то чудное сочетание правильности речи,— это была все-таки петербургская речь, а не деревенская,— и разных веселых, остроумных прибауток, которые неведомо откуда она брала,— может быть, сама сочиняла. «Да,— говорила она, незадолго до смерти,— было у Мокея два лакея, а теперь Мокей — сам лакей»... — и сама смеялась...

В старом Кремле 20-х, начала 30-х годов,— когда было много народа и полно детей, она выходила гулять с моей коляской, дети — Этери Орджоникидзе, Ляля Ульянова, Додик Менжинский,— собирались вокруг нее и слушали как она рассказывала сказки.

Судьба дала ей повидать многое. Сначала она жила в Петербурге, и хорошо знала тот круг, к которому принадлежали ее хозяева. А это были выдающиеся люди ис-

кусства — Евреинов, Трубецкой, Лансере, Мусины-Пушкины, Геринги, Фон-Дервиз... Однажды я показала ей книгу о художнике Серове — она обнаружила там много знакомых ей лиц и фамилий,— это был круг художественной интеллигенции тогдашнего Петербурга...

Сколько рассказов было у нее в голове обо всех, кто бывал у них в доме, как одевались, как ходили в театр слушать Шаляпина, как и что ели, как воспитывали детей, как заводили романы хозяин и хозяйка, которые отдельно и потихоньку, просили ее передавать записки...

И, хотя, усвоив современную терминологию, она называла своих прежних хозяек «буржуйками»,— ее рассказы были беззлобны; наоборот, она с благодарностью вспоминала Зинаиду Николаевну Евреинову, или старика Самарина. Она знала, что они не только брали у нее,— они ей и дали многое увидеть, узнать и понять...

Потом судьба забросила ее в наш дом, в тогдашний еще более или менее демократический Кремль,— и здесь она узнала другой круг, тоже «знатный», с другими порядками. И как чудно рассказывала она позже о тогдашнем Кремле, о «женах Троцкого», о «женах Бухарина», о Кларе Цеткин, о том как приезжал Эрнст Тельман и отец принимал его в своей квартире в Кремле, о сестрах Менжинских, о семье Дзержинского,— да, Боже мой, она была живая летопись века, и много интересного унесла она с собой в могилу...

После маминой смерти, когда все в доме переменилось, и мамин дух быстро уничтожался, а люди, собранные ею в доме были изгнаны, одна лишь бабуся осталась незыблемым, постоянным, оплотом семьи.

Она провела всю жизнь с детьми,— и сама была как дитя. Она оставалась во все времена ровной, доброй, уравновешенной. Она собирала меня утром в школу, кормила завтраком, кормила обедом, когда я возвращалась, сидела в соседней своей комнате и занималась своими делами, пока я готовлю уроки; потом укладывала меня спать. С ее поцелуем я засыпала — «ягодка, золотко, птичка»,— это были ее ласковые слова ко мне; с ее поцелуями я просыпалась утром — «вставай, ягодка, вставай птичка»,— и день начинался в ее веселых, ловких руках.

Она совершенно лишена была религиозного, и вообще всякого ханжества; в молодости она была очень религиозной, но потом — отошла от соблюдения обрядов, от «бытовой», деревенской религиозности, наполовину состоя-

щей из правил и предрассудков. Бог, наверное, существовал для нее все-таки, хотя она утверждала, что больше не верует. Но перед смертью ей все-же захотелось исповедаться хотя бы мне, и она рассказала мне тогда все о маме...

У нее была когда-то, до революции, своя семья, потом муж ушел на войну и в тяжелые голодные годы не захотел вернуться. У нее умер тогда младший любимый сын ее и она прокляла навсегда мужа, оставившего их одних в голодной деревне... Позже, узнав где она теперь служит, муж вспомнил о ней, и с истинно мужицкой хитростью стал бомбардировать ее письмами, намекая о желании вернуться,— у нее уже была тогда своя комната в Москве, где жил ее старший сын. Но она была тверда, она презирала своего бывшего мужа. «Ишь,— говорила она,— как плохо было, так исчез и сколько лет ни слуху, ни духу. А теперь вдруг заскучал! Пускай там без меня поскучает,— мне сына надо выучить, и без него обойдусь» [1].

Муж тщетно взывал к ней в течение многих лет,— она не отвечала ему. Тогда он научил своих двух дочек — от второй жены — писать ей и просить денег — плохо, мол, живем... Дочки писали ей и присылали свои фотографии — выпученные глаза, тупые лица. Она смеялась: «Ишь, косоротых каких напёк!». Но тем не менее «косоротых» жалела, и регулярно посылала им денег. Кому только еще из своей родни не посылала она денег. Когда она умерла, на сберегательной книжке у нее оказалось 20 рублей старыми деньгами. Она не копила и не откладывала...

Бабуся держалась всегда очень деликатно, но с чувством собственного достоинства. Отец любил ее за то, что у нее не было подобострастия и угодничества,— ей все были равны,— «хозяин», «хозяйка»; этого понятия было для нее достаточно, она не вдавалась в рассуждения — «великий» это человек или нет, и кто он вообще... Только в семействе Ждановых назвали бабусю «некультурной старухой»,— я думаю, что такого неуважительного прозвища она никогда не получала в дворянских семьях, где служила раньше.

Когда во время войны и еще до нее, вся «обслуга»

---

[1] Девичья фамилия няни была Романова, а по мужу она была Бычкова. «Напрасно я царскую фамилию на скотскую променяла»,— говорила она.

нашего дома военизировалась, пришлось и бабусю «оформить» соответствующим образом, в качестве «сотрудницы МГБ» — таково было общее правило. Раньше деньги ей платила просто сама мама. Бабуся очень потешалась когда приходила военная аттестация «сотрудников», и ее аттестовали как... «младшего сержанта». Она козыряла в кухне повару, и говорила ему «есть!» и «слушаюсь, вашество!». И сама восприняла это как дурацкую шутку, или игру. Ей не было дела до дурацких правил,— она жила возле меня и знала свои обязанности, а как ее при этом аттестуют — ей было наплевать. Она уже насмотрелась на жизнь, видела много перемен — «отменили погоны, потом снова ввели погоны» — а жизнь идет своим ходом и надо делать свое дело, любить детей и помогать людям жить, что бы там ни было.

Последние годы она болела все время, сердце ее было подвержено постоянным стенокардическим спазмам, а кроме того, она была ужасно тучной. Когда вес ее перевалил за 100 кгр., она перестала подходить к весам, чтобы не расстраиваться. Тем не менее, она не желала отказывать себе в пище, ее гурманство с годами превращалось просто в манию. Она читала поваренную книгу, как роман, все подряд, и иногда восклицала: — «Да! Правильно! Вот и мы у Самариных пломбир так делали, и еще в середину стаканчик со спиртом ставили и зажигали и выносили к столу в темноте!». Последние года два она жила у себя дома, на Плотниковом, с внучкой, и ходила гулять на скверик Собачьей площадки; там собирались арбатские пенсионеры, и вокруг нее был настоящий клуб: она рассказывала им как она делала кулебяки и рыбные запеканки. Слушая ее, можно было насытиться одним только рассказом! Она называла все предметы вокруг себя,— особенно пищу, уменьшительными именами,— «огурчики», «помидорчики», «хлебушек»; «сядь, почитай книжечку»; «возьми карандашик».

Погибла она в конце концов из-за своего любопытства. Как-то сидя у нас на даче, она ждала, что покажут по телевизору — это было ее любимейшее развлечение. Вдруг объявили, что сейчас будут показывать приезд У Ну, и встречу его на аэродроме, и что встречать его будет Ворошилов. Бабусе было страшно любопытно, что это за У Ну, да и Климента Ефремовича ей хотелось посмотреть, «сильно ли постарел», и она ринулась бегом из соседней комнаты, забыв про возраст, про вес, про сердце, про больные ноги... На пороге она споткнулась, упа-

ла, расшибла руку и очень испугалась... С этого началась ее последняя болезнь.

Я видела ее за неделю до смерти — ей хотелось «судачка свеженького», она просила достать. Потом я уехала и 4-го февраля мне позвонила ее внучка и, плача в телефон сказала, что «только я отвернулась на минуточку, форточку открыть — бабушка просила,— а обернулась к ней — она уже не дышит!».

Странное чувство отчаяния охватило меня... Казалось, уж все мои родные умерли, кого только я не потеряла,— надо бы привыкнуть к смертям,— но нет, мне так больно, как будто отрезали кусок моего сердца...

Мы посовещались с ее сыном, и решили, что бабусю надо непременно похоронить рядом с мамой, на Новодевичьем. Но как это сделать? [1]. Мне дали несколько телефонов разных начальников в Моссовете и в МК, но дозвониться было невозможно, да и как я им объясню, что за человек бабуся? Тогда я ринулась звонить к Екатерине Давидовне Ворошиловой и сказала ей, что умерла моя няня. Бабусю все знали, все уважали. Сразу подошел к телефону Климент Ефремович, заахал, огорчился... «Конечно, конечно,— сказал он,— только там ее и хоронить. Я скажу, все будет в порядке».

И мы похоронили ее рядом с мамой. Каждый целовал бабусю и плакал, и я поцеловала ей лоб и руку — без всякого страха, без отвращения перед смертью, а только с чувством глубочайшей печали и нежности к этому родному, самому родному мне существу на этой земле, которое тоже уходит и покидает меня.

Я и сейчас плачу. Милый мой друг, ты понимаешь, что такое была для меня бабуся? Ах, как больно и сейчас. Бабуся была щедрое, здоровое, шелестящее листьями дерево жизни, с ветвями, полными птиц, омытое дождями, сверкающее на солнце — Неопалимая Купина, цветущая, плодоносящая — не смотря ни на что, как ни ломай ее, какие бури на нее ни насылай...

Ее нет уже, моей бабуси,— но она оставила мне память о своем веселом добром нраве, она осталась в моем сердце полной хозяйкой,— и даже в сердцах моих детей, не забывающих ее тепло. Да разве ее забудет кто-нибудь, кто знал ее? Разве забывается Добро?

---

[1] Новодевичье кладбище считается «правительственным», поэтому необходимо разрешение высших инстанций на похороны.

Никогда не забывайте Добро. Люди, пережившие войну, лагеря — немецкие и наши, тюрьмы — царские и наши, перевидавшие все ужасы, которые только ниспосылает наш двадцатый век, не забывают добрых, родных лиц своего детства, маленьких солнечных уголков, где душа отдыхает потихоньку всю жизнь потом, как бы ей ни приходилось страдать. И плохо, если совсем нет у человека этих уголков, где отдохнуть душе... Люди самые черствые и жестокие, хранят, пряча от всех, в глубинах своих исковерканных душ, эти уголки воспоминаний детства, какой-нибудь маленький «солнечный лучик».

А Добро все-таки побеждает.

Добро побеждает, хотя, увы, часто это происходит слишком поздно, и столько добрых, прекрасных людей, призванных украшать собой землю,— гибнет неоправданно, неосмысленно, и неведомо — зачем...

* * *

Я хочу на этом кончить мои письма к тебе, мой дорогой друг.

Спасибо тебе за твою настойчивость,— мне одной было бы не под силу свезти с места этот воз. А сейчас, когда душа свалила с себя этот непосильный груз — мне так легко — как будто бы я долго лезла по скалам в гору, и, наконец, выбралась, и горы уже — подо мной; ровные хребты раскинулись кругом, блестят в долинах реки, и светит небо надо всем этим — ровно и спокойно.

Спасибо тебе, мой друг!

Но ты сделал и другое. Ты заставил меня снова пережить все, снова увидеть милых и дорогих мне людей, которых давно уже нет... Снова ты заставил меня биться и ломать себе голову над теми противоречивыми и трудными чувствами, которые я всегда испытывала к своему отцу, любя его, и страшась, и не понимая, и осуждая...

Снова все это навалилось на меня со всех сторон,— и я уже думала, что не хватит сил говорить со всеми этими тенями, со всеми этими призраками, вставшими вокруг тесным кругом...

И так сладко было видеть их всех снова, и так ужасно больно просыпаться от этого сна,— так хотелось подольше слушать их голоса, а они вдруг умолкали и исчезали...

Какие это были люди! Какие цельные, полнокровные характеры, сколько романтического идеализма унесли с собою в могилу эти ранние рыцари Революции — ее тру-

бадуры, ее жертвы, ее ослепленные подвижники, ее мученики...

А те, кто захотел встать над ней, кто желал ускорить ее ход и увидеть сегодня результаты будущего, кто добивался Добра средствами и методами зла,— чтобы быстрее, быстрее, быстрее крутилось колесо Времени и Прогресса,— достигли ли они этого?

А миллионы бессмысленных жертв, а тысячи безвременно ушедших талантов, погашенных светильников разума, которым не вместиться ни в эти двадцать писем, ни в двадцать толстых книг — не лучше ли было бы им, живя на земле, служить людям, а не только лишь «смертию смерть поправ» оставить след в сердцах человечества?

Суд истории строг. Он еще разберется — кто был герой во имя Добра, а кто — во имя тщеславия и суеты. Не мне судить. У меня нет такого права.

У меня есть только лишь совесть. И совесть говорит мне, что если не видишь бревна в своем глазу, то не указывай на соринку в глазу другого... Все мы ответственны за всё.

Пусть судят те, кто вырастет позже, кто не знал тех лет, и тех людей, которых мы знали. Пусть придут молодые, задорные, которым все эти годы будут — вроде царствования Иоанна Грозного — так же далеки, и так же непонятны, и также странны и страшны...

И вряд ли они назовут наше время «прогрессивным», и вряд ли они скажут, что оно было «На благо великой Руси»... Вряд ли...

Вот они-то и скажут, наконец, свое новое слово — новое, действенное, целенаправленное слово,— без брюзжания и нытья.

И они сделают это, перевернув страницу истории своей страны с мучительным чувством боли, раскаяния, недоумения, и это чувство боли заставит их жить иначе.

Только пусть не забывают тогда, что Добро — вечно, что оно жило и накапливалось в душах даже там, где его и не предполагали, что оно — никогда не умирало и не исчезало...

И все, что живет, дышит, бьется, светит, что цветет и плодоносит,— все это существует только Добром и Разумом и во имя Добра и Разума на всей нашей милой, измученной Земле.

Жуковка. 16 июля — 20 августа 1963 г.

Аллилуева С. И.
А50 **Двадцать писем к другу.— М.: Известия, 1990.— 176 с.**

Двадцать писем к другу, которые представила читателю Светлана Аллилуева, раскрывают нам жизнь И. В. Сталина, его отношения с родными и близкими.

А $\frac{0902020000—077}{074(02)—90}$ 90 —90 ББК 66.61(2)8

Светлана Иосифовна АЛЛИЛУЕВА

ДВАДЦАТЬ ПИСЕМ К ДРУГУ

Ответственный за выпуск **Л. Цуранова**
Художественный редактор **И. Суслов**
Технический редактор **Е. Медведева**

●

ИБ № 1552
Сдано в набор 10.04.90. Подписано в печать 28.06.90. Формат 84×108 1/32. Бумага кн.-журн. Гарнитура литературная. Печать высокая. Печ. л. 5,5. Усл. печ. л. 9,24. Усл. кр.-отт. 9,45. Уч.-изд. л. 9,41. Дополнительный тираж 500 000 экз. Зак. 1013.
Цена 3 р.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
103798, ГСП Москва, К-6, Пушкинская пл., 5.

Типография издательства и комбината печати издательства «Радянська Україна»; 252006, Киев-6, ул. Анри Барбюса, 51/2.

Светлана
АЛЛИЛУЕВА

Двадцать писем к другу



3 р.

«ИЗВЕСТИЯ»
Москва
1990